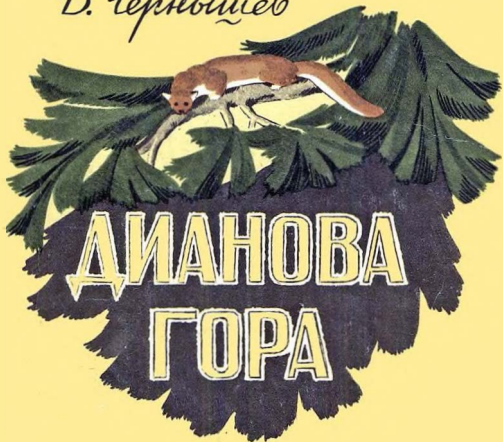
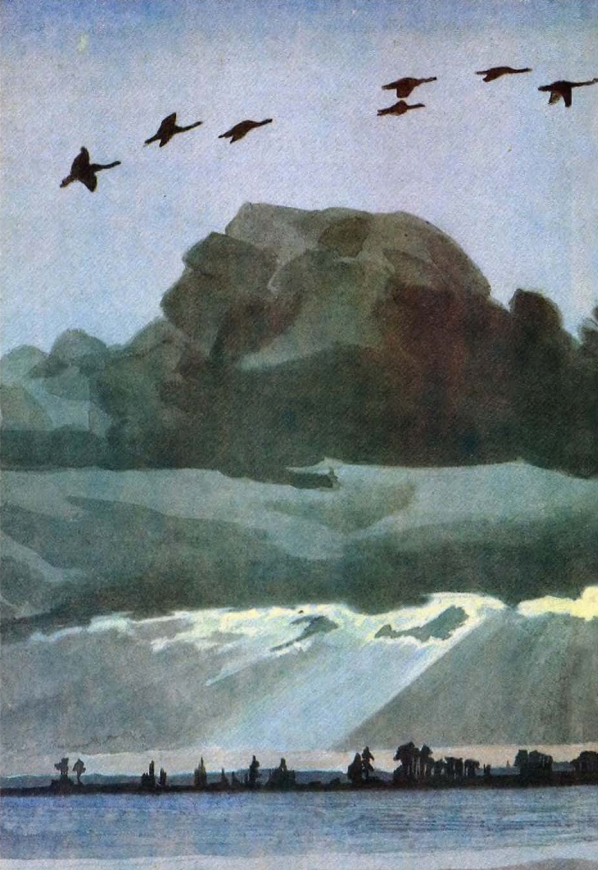


В. Чернышев









В. Чернышёв

ДИАНОВА ГОРА

РАССКАЗЫ



*Рисунки
Н. Мамонтова*

МОСКВА

«Детская литература»
1986

Ч49
Р2

Ч $\frac{4803010103-432}{М101(03)86}$ 407-85

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1986 г.

ТЁПЛЫЙ СНЕГ КАМЧАТКИ





КАМЧАТОЧНИК СТАНОВИТСЯ КАМЧАДАЛОМ

Так получилось, что в классе я был самым длинным и всю жизнь сидел на «камчатке». Позади была стена, а на стене карта. Оттуда мне в макушку целился своей острой южной оконечностью полуостров Камчатка. Мыс Лопатка — называлась эта оконечность.

Кто из «камчаточников» не хочет побывать на всамделишной Камчатке? Я оборачивался к карте и, конечно, тоже мечтал увидеть самый большой в стране полуостров. Где ещё найдёшь настоящий вулкан? Гейзеры... медведи... огромные рыбины-лососи...

Прошло немало лет. Я кончил школу, институт, успел потрудиться на заводе. А давняя мечта росла вместе со мной и год от году становилась всё настойчивее.

И вот мне представилась возможность поработать на Камчатке. Наконец-то! Я еду, еду! Только на чём? Как туда добраться?

Самолётом можно долететь за двенадцать часов. А поездом и паромом тащиться дней десять. А то и больше. Впрочем, что значит «тащиться»? Ведь туда больше десяти тысяч километров. По тысяче с лишним километров в день. Ничего себе — «тащиться»!

— Лучше бы ты совсем не ездил, — говорила мама. — Очень уж далеко, почти на другой стороне Земли.

— Езжай поездом, — советовал отец. — До отпуска соскучишься, захочется попасть сюда поскорее. Оттуда прилетишь самолётом. А туда можно поездом плюс паромом. Посмотришь хоть страну!

Так я и решил. Страну посмотрю! И Великий или Тихий океан.

А было это в октябре. Низкие тучи сыпали на Москву то дождь, то снег. А чаще всего и то и другое вместе.

— Такая плохая погода, а ты едешь, — вздыхала мама. Она никак не могла привыкнуть к тому, что её сын будет разгуливать по другой стороне земного шара.

— Ничего, за Уралом будет получше, — невесело шутил отец. — Вчера в программе «Время» говорили: в Иркутске минус двадцать.

Поезд тронулся, а мама всё что-то кричала. Я опять выскочил в тамбур.

— Пожалуйста, ешь чеснок! — кричала мама. — Ви-та-ми-ны! Хорошо от простуды!

Коридор вагона скоро опустел. ●дни пассажиры копались в вещах и уточняли, что забыто, а другие гремели в купе целлофаном и разрывали варёных кур. Потом пассажиры стали ходить по вагону, знакомиться и выяснять, кто куда едет.

К нам в купе заглянул улыбающийся моряк в кителе нараспашку с густыми шевронами на рукавах.

— Сахалинец! — отрекомендовался он весело. — Пока что самый дальний. Есть попутчики?

— А камчаточника не хотите? — по-школьному назвался я. — Есть и подальше, в Петропавловск!

— Готов спорить — едешь впервые! — захохотал моряк. — Сразу вижу, не будь я дедом!

— Это почему же?

— Да потому, что «камчаточник» — дылда-второгодник и троечник, а на Камчатке живут камчадалы, это раз!

— Я знаю, — смутился я, — просто я так...

— А во-вторых, в отпуск они летают самолётом, — перебил меня моряк. — Знаю я их, камчадалов, бывал в Питере! В Петропавловске то есть.

— Но вы-то — поездом...

— Я другое дело! У меня мама на станции Зима. Надо повидаться. — Он прищурился, оглядел мои вещи.

— Из Москвы? — каким-то образом определил моряк. — Выходи потом в коридор, «потравим». Ну, поболтаем. — И он отправился дальше по вагону искать земляков.

Я смотрел в окно и пил чай с пирожками. В Заволжье шёл мокрый снег. Там на станциях продавали пирожки с мясом и повидлом. В Западной Сибири ребяташки уже ходили на лыжах, а пирожки были с капустой. Забайкалье встретило нас двадцатиградусными морозами и расстегаями с рыбой. А после станции Зима появились домашние кулебяки и

румяные ватрушки. Их испекла мама моряка, приходившая к поезду.

— Да вы таких не едали! — угощал морик своими «подорожниками». — Вкуснее нет, не будь я дедом!

Мы подолгу разговаривали с ним в коридоре. Вернее, говорил он, а я слушал невероятные истории из его морской жизни.

— Самое время для «травли», — объяснял моряк. — В море пойдёт рыба — не только поговорить, поесть-поспать некогда!

— Неужели у вас есть внуки? — недоверчиво покосился я на его румяное улыбающееся лицо. — Вы всё говорите «не будь я дедом»...

— Ох, садага! — закатился смехом морячок. — Да у меня не только внуков, детей-то ещё нет! «Дедами» на флоте называют старших механиков. А я стармех на СРТ — на среднем рыболовном траулере!

А поезд всё шёл да шёл по огромной стране. Плавню поворачивались за окном просторные поля. Потом пошли леса, сонки, тайга. Мелькали фонари в тёмных гулких тоннелях, гремели стальные мосты над большими и малыми реками. Кое-где на речках уже были ледяные забереги, плыло «сало»...

— А во «Владике», вот увидишь, будет «Ташкент», — обещал весёлый стармех. — Там всегда в эту пору тепло.

Моряк оказался прав. Во Владивостоке сияло солнце. Люди ходили без пальто. Поезд остановился в порту. Кончались рельсы. Кончалась земля. Дальше лежал океан. За окном вагона высился чёрный борт огромного парохода.

— Ну, пока, камчадал! — хлопнул меня по плечу стармех. — Вот твоя старушка «Азин». На ней пойдёшь — видишь, грузится. Авось, встретимся!

На причале возле «Азии» громоздились контейнеры, бочки, ящики, тюки, какие-то машины, трубы... Много, целая гора! Неужели всё это поместится на старушке «Азии»?

...И вот за окном Великий или Тихий океан. Окно здесь называется иллюминатором. В его круглое стекло шлёпает, проносится мимо зеленоватая пенистая вода. А пу как хлынет в каюту? Но стекло толстое. Да ещё есть чугунная задрайка-«броняжка». Если завинтишь — нипочём не выдавить!

На застеклённой палубе прогуливаются пассажиры. Палуба чуть подрагивает от машины, работающей где-то в утробе огромной «Азии».

В коридорах пахнет луком: «Азия» везёт на Камчатку витамины. Не зря мама наказывала мне есть чеснок. Мама всегда бывает права.

В каюте не сидится. Столько кругом интересного! Уступая судну до-

рогу, срываются стайки морских нырков и быстро летят над самой водой. Пароход сопровождают чайки. Они вьются за кормой, висят на распластанных крыльях сбоку, крутят головой и поглядывают, не бросят ли что-нибудь съестное. Вот из камбуза выплеснули помой, и чайки, сварливо ссорясь из-за лакомых кусочков, сгрудились и ловко выхватывают их из воды.

Частенько появляются дельфины. Они выпрыгивают из волн, играют и кувыркаются. Дельфины легко обгоняют «Азию» и появляются то слева, то справа.

— Киты! Киты!

Горбы волн степенно прорезают высокие и кривые, как косой парус, плавники хищных китов-касаток. Оголяются блестящие чёрные спины,





мелькают огромные махалки хвостов. Будьте осторожны, весёлые дельфины!

Сколько видит глаз — вода, вода и низкое небо. Больше ничего. И сырой пронизывающий ветер. Осень — время штормов. И нас покачивает. Палуба уходит из-под ног, на столах лужи выплеснувшегося супа. Велик, но не тих ты, океан!

Четыре дня качался наш «луковый» пароход. А потом всё сразу стихло. Мы вошли в Авачинскую бухту.

Вот она, Камчатка!

Тихий, медленный опускается снег. Густые, крупные новогодние хлопья. Белые сопки, белые берега, черная вода. По сопкам поросль корявых берёз. Улицы залиты огнями. Ведь послезавтра праздник Октября. Город уже зажжёт иллюминацию. Красота!

Хлопотливые портовые буксирчики подтащили усталую неповоротливую «Азию» к причалу. Всё! Приехали.

— Привет, старпом! — кричат с причала. — Лук, что ли, привёз? Луком пахнет.

Старший помощник капитана наблюдает с мостика за выгрузкой пассажиров.

— Много чего привёз, — отвечает он спокойно. — Есть и лук. Ешьте на здоровье!

Город как город. Дома как дома. И люди как люди. Гуляют по улицам, улыбаются. Парни больше без шапок. На плечах — тёплый пухлый синг. Шныряют такси, идут автобусы. В ярко освещённом магазине на кафельном полу спит лохматая собака. Похоже, еловая лайка. Не тревожа, не обращая внимания, покупатели перешагивают через неё. Хорошие, видно, здесь живут люди!

Я спросил, где почта, и послал телеграмму: «Доехал хорошо. Поздравляю праздником. Ваш камчадал».

Ведь я уже почти полчаса жил на Камчатке.

МИНЬКА

Большой ящик из-под макарон я накрыл клеёнкой с нарисованными на ней шестерёнками и кувшинчиками. Получились сразу и стол, и буфет, куда я прятал хлеб, посуду, чай и сахар. Койка в моей комнате уже стояла. Осталась от кого-то в наследство. Бугристан и шаткан, но спать можно. А табуретку мне подарили соседи. Для полного комфорта мне теперь не хватало лишь медвежьей шкуры. Это красиво и романтично, когда в комнате лежит шкура какого-нибудь крупного страшного хищника. Кроме того, если спать на медвежьей шкуре, постепенно становишься сильным и бесстрашным. Так я слышал, по крайней мере.

— А ты сходи к Осьмухе, — посоветовали мне. — Есть тут такая бабушка-медвежатница.

Бабушка Осьмуха жила в отдельном домике с голубыми ставенками. Честно говоря, я никак не мог представить, как выглядит медвежатница. Густобровая, небось, и усатая, ступает вперевалку...

Едва я звякнул кольцом калитки, между геранями в окошке показалось приплюснутое старушечье лицо. Поверх приплюснутых очков на меня глянули голубенькие глазки. То ли ставни покрасили под цвет глаз, то ли глаза подголубили заодно со ставнями...

Бабушка-медвежатница оказалась небольшой бабулей в шерстяном платке, концы которого были завязаны за спиной. У неё были пухлые веснушчатые руки, пухлые щёчки и пухлый подбородок под запавшим

ртом. Да и вся она была какая-то мягкая и круглая, точно сдобный колобок. Ничего общего с чем-то медвежьим у неё не было.

И как это она ухитрилась завязать сзади платок?

— Был, был мех, гражданин,— подтвердила бабуля.— Да упротосил продать один художник, из Москвы приезжал.

— Вот и я оттуда!

— Вишь как, про меня в самой Москве знают,— горделиво стрельнула глазами старушка.— Весной приезжай. Подрастёт. А сейчас нету.

Я ничего не понимал. Где «подрастёт»? Берлога, что ли, у неё на примете, куда она весной пойдёт за медведем?

— Шутник ты, парень,— распустила бабуля в улыбке щёки.— Какая ещё «берлога»? Вон сарай-то. Пойдём, покажу.

Осьмуха накинула шубейку и повела меня во двор. Там в сарае сидел на цепи молодой медведь. Он встал на дыбки и замахал передними лапами.

— Миня, Миня,— запричитала бабка.— Минечка сладенького хочет. Не бойся, он смирный. Совсем ручной.

У меня случайно оказались купленные в магазине пряники. Миня загребал лапой — давай, мол, не скупись,— смешно вытягивал трубкой губы и жевал пряники. Он косился на меня маленькими лиловатыми глазками и постанывал от удовольствия. Пряники быстро кончились. Знал бы, купил побольше. Миня обиженно захныкал: мало!

— Но медведи-то зимой спят,— вспомнил я.

— А пусть спит, коль захочет,— согласилась хозяйка.— Только они у меня почему-то не спят. Я их кормлю. Пятого или шестого уж держу. Чем кабанчика, лучше медведя. И мясо, и шкура.

По-новому оглядел я бабку. Так вот она какая «медвежатница»! Жаль, не знают, не могут ей отплатить камчатские мишки...

— Где же вы их берёте?

— А у меня племянник есть, Толик, шофёр. С экспедицией ездит, мне и привозит.

Бабуля поджала губы. Ей не нравились мои расспросы. Пришёл покупать, так нечего любопытничать.

Мы помолчали. Замолчал и Миня, словно задумавшись о своей нерадостной судьбе...

— Приезжай в апреле,— повернулась к дверям бабка.— Так и быть. Твой будет этот мех.

Но мне уже расхотелось иметь медвежью шкуру. Одно дело, когда она готова, как из магазина, другое — когда на живом Миньке...

— А может, сейчас продадите медведя?



Это вырвалось у меня само собой. Куда, если подумать, мне его деть? Где держать-то?

Бабушка пожевала запавшим ртом, сообразила что-то и кивнула решительно:

— Давай. Только я возьму за него, как за весеннего.

И она заломила сумму, которой у меня не было. Не могло быть таких денег и весной.

С тяжёлым сердцем я уходил от «медвежатницы». Как же выручить Миню? Он провожал меня стоя, гукал вслед и махал лапами, будто пригласан — приходи! Да гляди, пряников не забудь!

Думал я, думал, как быть с Миней, и, кажется, придумал.

К нам на завод пришёл военный плавучий док. Такие доки служат для подъёма — докования — кораблей. Похож плавдок на перевёрнутую букву «П». Или на огромное корыто без передней и задней стенок. Такое большое, что в нём помещается корабль. Дно у корыта — пустые понтоны. Зальют их водой — док погрузится, только ножки у буквы «П» торчат, они называются башнями. Откачают воду из понтонов — док всплывёт и поднимется, а заодно поднимет и вошедший в него корабль. Теперь пожалуйста, можете ремонтировать корабль и красить его днище. Вот оно, всё на виду.

Но и сам док время от времени нуждается в ремонте. Вот его и прибуksировали к нам на судоремонтный завод. И мне поручили вести на нём работы.

Ремонт не ремонт — у военных моряков служба идёт своим порядком. Как всегда утром — подъём, вечером — отбой. У входа на док стоит часовой с карабином и сине-белой повязкой на рукаве. Проверяет, есть ли пропуск. Так положено. Моряки на доке служат и учатся, помогают заводу в ремонте. В кубриках тепло, светит электричество, подключённое с берега, и работает своя кухня — камбуз. Всегда в одно и то же время к командиру дока приходит кок и докладывает: «Товарищ капитан-инженер третьего ранга! Обед готов! Прошу спать пробую». Командир надевает фуражку, идёт на камбуз и пробует первое, второе, а бывает, и компот. «Добро! — по уставу разрешает обед командири и от себя добавляет: — Молодец, кок! Борщ отменный!»

Военнослужащий, когда его хвалят, должен отвечать: «Служу Советскому Союзу!» Но кок — в колпаке и в фартуке, с чумичкой в руке — стесняется говорить такие слова и отвечает попросту: «Рад постараться, товарищ командир!» И он действительно рад угодить команде и накормить её повкуснее.

Хорошие ребята служат на доке! Я быстро подружился с матросами и офицерами. Вот я и придумал посоветоваться с командиром, не выкупить ли всей командой Мияю у бабки Осьмухи. Пожил бы на доке, ремонт большой, на два года, а там видно будет...

— М-да, — вздёрнул брови и почесал переносицу командир. — Медведь на доке... Впрочем, в учебном отряде у нас когда-то жил медвежонок. Забавный был товарищ. Надо посоветоваться с замполитом.

— Я считаю, это безобразие! — вскипел замполит, услышав мой рассказ про Мияю и бабу. — Откармливать камчатского бурого медведя как какого-нибудь поросёнка! Я считаю, это надо пресечь. Личный состав сейчас как раз на занятиях в Ленинской комнате. Обсудим! Решим!

Вероятно, речь замполита была пламенной и убедительной. Не прошло и двадцати минут, как в дверях командирской каюты появились три



матроса во главе с интендантом-старшиной, белорусом по фамилии Булёля. Они были возбуждены и полны решимости постоять за правое дело. С ними я отправился в знакомый дом на склоне сопки.

— Уважаемая гражданка Осьмухина! — приложил руку к мичманке и щёлкнул каблуками старшина. — По поручению команды наряд моряков прибыл забрать у вас за наличный расчёт медведя по кличке Микя! Короче, покупаем. Вот деньги, сколько просили.

— Да ведь, милые, — заморгала голубыми глазками струхнувшая бабка. — Милые, не продажный он... Одинокая я... Я к нему привыкла.

— Ну нет! — выступил я из-за матросских спин. — Как мы договорились? Уговору — место!

— А, и ты тут, — уколола меня сердитым взглядом Осьмуха. — А говорил, из Москвы...





— И вот что, гражданка бабуся! — продолжал Булёля. — Военные моряки наказывали передать, чтобы это в последний раз!

— Что, милые? Я ничего...

— Медведей держать, вот что! Да ещё в корыстных целях! По закону нельзя отлавливать животных! Учтите — будем это пресекать!

— Так ведь не я, милые... Не я отлавливаю, — запричитала вконец оробевшая бабка. — Мне привозят... Сама покупаю...

— Короче, всё! — прервал её Булёля. — Где медведь?

...Три матроса во главе со старшиной вели подростка-медведя на завод. Установлено, что на Камчатке самое густое в стране медвежье население. Но в городе их всё-таки нет. И Миня сразу привлёк всеобщее внимание. Неистовствовали разномастные взъерошенные псы. Останавливались и глазели вслед зеваки. Шофёры притормаживали машины, тянули шеи из окон кабин. Миня мотал головой, клянчил сухофрукты, которыми ребята предусмотрительно запаслись на камбузе, и прыгал боком на всех четырёх лапах. Он был доволен прогулкой. Наступившие в его жизни перемены пока его устраивали.

На дальнем конце дока плотники сколотили большую, в рост человека, конуру. Она была похожа на ярмарочный ларёк-теремок, на которого торгуют квасом. Над входом в теремок доковский художник сделал полукругом цветную надпись:

ОСТОРОЖНО! МИНЯ!

Так док стал «минированным». Или «Миня-доком», как прозвали его на заводе.

У военных моряков каждый механизм, каждая верёвочка, именуемая шкертиком или кончиком, имеет своего хозяина, ответственного за это имущество. Таков порядок на флоте.

— Старшина! — вызвал командир Булёлю. — Медведь поступает в ваше заведование. Вы больше всех хлопотали, вы и отвечайте. И чтобы на доке всё было о'кей!

— Есть, трицкаштан-инженер-треть-ранга! — вытянулся Булёля. — Всё будет в о'кее! Разрешите идти?

Но хозяйном Миня считала себя вся команда. Матросы в свободное время крутились возле ларька-теремка, угощали Миню сахаром и галетами, учили всевозможным штукам. Морякам не терпелось поскорее обучить медведя, команд было множество, Минька путался и вскоре понял одно: надо что-то сделать, за это дают лакомство.

— Миня, смир-рпа! Адмирал!

Но Минька начинал прыгать на всех четырёх и мычал, вытягивая губы трубкой.

— Ишь обрадовался начальству! Гляди, получишь нарядик вне очереди! — путаница Минией команд ещё больше веселила матросов.

— Миня! Полундра!

А Миня, вместо того чтобы спрятаться в конуру, медленно валился на бок и замирал на палубе, как при отбое.



— Отставить! — покрикивал на моряков старшина. — Животное портите. Каждый должен выполнять команду только непосредственного начальника. Тут любой запутается, когда столько командиров.

— А кто над ним начальник?

— Как кто?! В чём он заведовании? Вот буду в отпуске, съезжу на консультацию в Сморгонь. Я слышал, это место когда-то славилось тем, что там умели учить медведей. Сморгонской академией называли. Может, кто остался там из знающих людей. Обучу Миню — выступать будем!

Булёля выпросил у командира разрешение спускать медведя с цепи. Деться ему было некуда: кругом дока была вода, заводская бухта, а у сходни на берег всегда стоял часовой. Минька носился по пустой просторной стапель-палубе, где при работе дока стоят поднятые корабли. Он принимал участие в уборке снега, растаскивал с рабочими сварочные провода и воздушные шланги. Играя с резиновыми проводами, путаясь в их кольцах, Минька посматривал на сварщика: ну как опять запалит свой страшный огонь? Несколько раз поблизости от него начинали варить, он уже знал, что это такое. Медведь чихал от запаха и дыма сварочной дуги, пугался её вспышек и треска и удирал, вскидывая кургузый зад, к своему теремку.

Многоснежная камчатская пурга заносила его жилище по самую крышу. Минька долго не показывался.

— Не знает, небось, что пурга кончилась! — смеялись матросы.

— Может, заснул? — посматривал на сугроб Булёля. — Чем не берлога?

На доке объявляли аврал.

— Миню не откапывать! — предупреждал старшина. — Пусть поспит. Может, он теперь до весны.

Наверху на топ-палубе появлялся кок, украинец Гнат.

— Зараз будеть ему побудка!

Кок начинал скоблить какую-нибудь кастрюльку. При этих звуках Миня не мог оставаться безучастным. Снег перед конурой дыбился, дышал и наконец взрывался. Под хохот авральной команды появлялся заспаный и всклокоченный, весь в снегу, Минька. Он фыркал, отряхивался и тяжёлыми махами проминал ход в сугробе туда, где обычно сыпались подачи из камбуза.

— Ну погоди, Гнат! — грозил снизу старшина. — Я тебе нынче самому сыграю побудку! Часа в два ночи!

— Добре, старшина! — соглашался кок. — Тильки тоже сготовь менё що-нибудь вкусенька!

Со временем все привыкли к тому, что на доке живёт медведь.



Рабочие сами просили дать им наряд па ремонт «Мини-дока». В обед они угощали Миню, а он попрошайничал и занимал их своими проделками. А когда потеплело и на стапель-палубе появился стол для домино, медведь крутился возле людей в брезентовых робах, шумно забивавших во время перерыва козла, заглядывал и пытался сгрести со стола кости. Вместе с рабочими он веселился, когда кто-нибудь азартно стучал костяшкой и кричал: «Вста-ать! «Р-рыба»! — и однажды так хватил лапой по столешнице, что все доминошки, как стайка птиц, взмыли в воздух...

Завод был перегружен работами, но ремонт дока стал опережать график. Я и не предполагал, что Миня может оказать такую услугу.

— А где вторая бригада монтажников? — спрашивал на оперативке главный инженер завода. — Что, тоже на доке?! Ты брось эти штучки! — грозил в мою сторону главный. — Мы плавбазу срываем, а он, видите ли, людей медведем сманивает!

Освоился со своим житьём на доке и Миня. Он уже не путал команд и, когда нужно, вытягивался, «отдавал честь» правой лапой, валился на бок при слове «отбой». Но больше всего он любил, когда раздавалось: «Команде пить чай!» Миня поднимался па дыбки, загребал правой лапой, требуя угощения, а левой поглаживал по мохнатому животу.

— От понятливый! — восторгался Булёля. — Он бы ещё что-то сделал, да мы не можем паучить. Также ведь, надо знать... Надо, надо мне в сморгонской академии побывать!

При встрече со мной Миня знал твёрдо: должны быть пряники. Если я давал что-то другое, Минька торопливо съедал и настойчиво лез в руки, тыкался в карманы: пряники, пряники-то где?

— А вы любитель, — улыбалась продавщица в магазине, — вы один наш план по пряникам делаете...

По узкому трапу Миня приловчился забираться на топ-палубу. Странно было видеть появившуюся в люке лобастую медвежью башку и лапы, скребущие когтями по рифлёным металлическим ступеням. Он выбирался наверх и, очень довольный своей ловкостью, радостно топал по узкой и длинной топ-палубе в конец дока. Он любил это место. Там, пожалуй, было спокойнее всего. Внизу, по станель-палубе, ходили рабочие и матросы, шипела газорезка и гудели сварочные аппараты, что-то тащили, чем-то гремели... Там шёл ремонт, его шум и суета надоедали медведю. С топ-палубы были видны цехи, тесно стоявшие у заводской набережной рыболовные суда. На судах работали люди, вспыхивала сварка, осыпая на воду искры, но набережной двигались неторопливые края, поднимавшие то нучок труб, то доски, то ящики с отходами от ремонта. А по заводской

бухте, называемой акваторией или попросту ковшем, ходили в битом льду трудяги-буксиры «Серп» и «Молот».

А в другую сторону горбились сопки с тёмными пятнами кедрача и тянулась бухта, которую пересекала едва заметная тропка, проложенная по льду к дальней нефтебазе на том берегу.

Фигура Миньки тоже хорошо видна была на башне дока. Оторвавшись от дела, рабочие на судах улыбались и показывали друг другу:

— «Дежурит»!

— Опять на «посту»!



— А здоровый-то какой стал!

Вид с башен завораживал Миню. Он притихал, смотрел на суда, на людей и мычал потихоньку, будто напевая про себя песенку, и покачивал головой — то ли кланяясь издали, то ли осуждая...

Бежали за старшиной — Мишка не мог слезть без его помощи. Трап не был рассчитан на медведя. Булёля заманивал Миньку сухими грушами и подстраховывал его, когда он, осторожно примериваясь, косолапоковылял со ступеньки на ступеньку.

Но скоро Миша и это освоил. Он научился спускаться, как с дерева, задом.

— Сразу видно — сухопутный! — смеялись матросы. — Миша, какой же моряк спускается спиной вперёд? Гляди, подставят тебе вилку!

У Миньки обнаружилась странность: он не мог оставаться равнодушным при виде долгополой одежды. Может, это напоминало ему бабку Осьмуху? А может, и ещё тут было что-то такое, о чём знал только Миша. Матросы обычно ходили в тёплых куртках-канадках из «чёртовой кожи», не пробиваемой ветром, или в бушлатах. Шинель и тулуп, которые висели в дежурке, надевал только часовой. Вид моряка в долгополой одежде, должно быть, ужасно смешил Миню. Заметив идущего к трапу, сменившегося с поста часового, медведь мчался к нему и начинал заигрывать, вертеться вокруг, прыгать боком и стараться зацепить болтавшуюся полу. Подбирая шинель, часовой удирал по трапу. Но Миша трап уже освоил. Почти так же резво он лез наверх. И вот — р-раз! — добротное матросское сукно не выдержало, и разорванная пола повисла, путаясь в ногах. А тут, как назло, командир:

— Матрос Сенчук! Что за вид?!

И матрос получил приказание идти к боцману за нарядом вне очереди по уборке дока...

— Товарищ старшина! — обиженный матрос-первогодок показал Булёле рваную шинель. — Ваше заведование, так вы хоть ногти ему стригите! В чём же я теперь буду ходить? От командира ни за что влетело...

— Эх ты! — зачмокал языком интендант. — Зачем же ты на глаза командиру полез? Ну ладно, возьми мою... А я в старой похожу, она у меня ещё хорошая...

Старшина Булёля был сирота. Как у многих белорусских детей, родителей у него отняла война. Его домом стал док, семьёй — военные моряки. Когда у него вышел срок службы, он попросился на сверхсрочную и решил, пока будут силы, служить на флоте. Родных у Булёли не было, но осталась родина, его Белоруссия. И он, когда начинал тосковать по ней, уезжал туда в отпуск. Только не очень часто это случалось. Не так легко навещать родину, где у тебя нет родных...

Я подружился с Булёлей. По вечерам он у себя в каюте играл на мандолине белорусские песни. Легонько подёргивая пластмассовым медиатором струны, Булёля глядел на гриф и тихо подпевал:

Ти ж мая, ти ж мая, пірапёлочка...

Глаза его становились грустными и смотрели куда-то мимо меня.

Старшина нёс морскую службу умело и браво, но, в общем-то, он оказался человеком тихим и неразговорчивым. Может, был таким от природы, а может, его сделала таким война...

Но иногда он становился озорным, способным на любую мальчишескую шалость. Он мог запустить с башни воздушного змея, сделать смешную маску. Если откуда-то сверху вдруг планировали и козыряли в потоках воздуха, сквозившего между башен, огромные «голуби», свёрнутые из устаревших ведомостей снабжения, ребята уже знали: это дело рук старшины. Наверное, в такие минуты к Булёле возвращалось его украденное войной детство. Но конечно, всё это он делал в те немногие часы, когда команде предоставляется «личное время» и матросы пишут письма домой.

«А в самом деле была бы неплохая пара — белорус с медведем, — думал я, глядя, как Булёля пускает сверху мыльные пузыри, а Минька гоняется за ними внизу по стапель-палубе и фыркает от лопнувших перед носом жидких шаров. — Немало бы доставили они радости ребятишкам где-нибудь в цирке или в ярмарочном балагане!»

Вечерами после работы мы с Булёлей ловили рыбу. Он и этим занятием увлекался, как мальчишка. Завод притихал. Лишь кое-где звякало железо, пошумливал двигатель траулера, начавшего испытания после ремонта. В золотой от заката воде бодро торчали наши поплавки. Наживку теребили селявки, поплавки подрагивали и ходили кругами. Минька сидел рядом и тоже смотрел на поплавки, нетерпеливо тыча носом в плечо Булёли.

— Ты что делаешь? — отстранялся Булёля. — Столкнёшь ведь! — Но вот поплавок уходил под воду, Булёля вытягивал бычка, возмущённо топырившего плавники. — Ага! Ещё один «бык»!

Больше брала мелочь. Булёля снимал рыбку, примерял её к заклёпкам ближнего кнехта: если добыча была меньше расстояния между заклёпками, он возвращал её в бухту:

— Иди, бык, нагуливай фигуру!

Миня провожал взглядом выброшенную рыбку, гукал и дёргался.

— Ладно, ладно, не жадничай, — ворчал Булёля. — Жалеешь, а сам не ешь. На Камчатке коровы и те рыбу едят, а тебе всё давай кашу с изюмом...



Булёле надоедали селявки, теребившие наживку, он заглублял крючок и скоро вытягивал плоскую, как лепёшка, с оранжево-чёрными плавниками камбалу:

— Вот тебе, Миня, «гидрокурица»!

Так матросы в шутку пазывали её за белое, будто курятина, мясо. Булёля кидал добычу в пожарное красное ведро, снова закидывал удочку и говорил задумчиво:

— Вот когда мы с батей ходили рыбачить на речку Ширяйку, раз во какую поймали рыбину...

И он рассказывал, как рыбачил с отцом. Но я-то уже знал, что, когда началась война, ему было всего полтора года, всё это он выдумывал...

И вот пришло время отпуска Булёли. А Минька остался. Минька скучал. Слонялся по доку, забирался на башню и подолгу стоял там, оглядывая завод и бухту. Но больше всего, видно, его тянуло в сопки. Там буйствовало короткое, но пышное камчатское лето. Плотной зелёной шубой покрывали сопки густые, корявые каменные берёзы, чуть не вровень с ними высились заросли шеламайника, цвели лилии-саранки и кипрей,

оттуда доносились запахи земли и трав... Уж не там ли его хозяин, печально-весёлый белорус Булёля? Минька покачивался, переступал с ноги на ногу и, раздуван ноздри, ловил струйки ветра.

А у меня наступили горячие дни. Я даже ночевал порой на доке, в каюте старшины-интенданта. Отремонтированные в цехах механизмы везли на док, надо было их устанавливать и проверить в работе. Монтажники смонтировали котёл и ждали топливо, чтобы провести «горячие» испытания.

Поздно вечером тяжёлый док чуть качнуло. Это подошла и пришвартовалась самоходная баржа-нефтянка. Она доставила мазут для котла. Вахтенный моторист подсоединил шланг, включил насос и перекачал горючее на док.

Утром ко мне в котельное отделение прибежал дежурный:

— Минька исчез!

Его не сразу хватились. Подумали, спит в своём теремке. А когда кок Гнат принёс любимой Минькиной рисовой каши с изюмом, никто от туда не вышел. Теремок оказался пуст.

Два дня искали военно-морского медведя Миню. Матросы облазали весь док и весь завод, прилегающие дворы и подвалы, заросли кедрача и березняк на ближних сопках. Часовой клялся, что ночью на берег никто не сходил. Минька как сквозь землю — сквозь док — провалился.

Куда он мог деться?

Всё стало ясно, когда в заводской ковш снова пришла нефтянка.

— Отвалил я от дока и пошёл на нефтебазу, — рассказывал шкипер баржи-самоходки. — Чуть светает, туман... Подошёл к пирсу, хотел пойти швартовы кинуть вахтенному, а на палубе у меня — медведь! О какой! Стоит и шею тянет, берег нюхает. Я — назад, дверь на задрайку. А вахтенный с причала кричит: «Кидай конец! Заснул, что ли?» А когда разглядел, что это медведь, — дёру! Слышу только, как каблуки по настилу застучали. Приоткрыл я дверь и вижу, что медведь целится на пирс прыгнуть, а баржа-то уже отошла, широко... Как он сиганёт! И пошёл в сопки. Поднялся и давай на всех четырёх прыгать. А потом приложил лапу, вроде как честь отдал — ко-омик! Так и ушёл...

А вскоре вернулся Булёля.

— Эх вы! — с чувством сказал старшина. — А я ему мёду привёз...

Он заперся в каюте и там провёл оставшийся день отпуска.

— А может, к лучшему, а, старшина? — постучал я к Булёле. — Дикий зверь должен жить вольно.

— Да ведь не дикий он! — горевал Булёля. — Убьют его. С вертолёта. Иль так наскочит...

Иntenдант сидел на койке и, шмыгая носом, молча пришивал на китель мичманские погоны. Пока он был в отпуске, пришёл приказ о производстве его в мичманы.

— Ну, что ты... Какой же уважающий себя мужчина, тем более лётчик, будет расстреливать с вертолётa беспомощного зверя?!

— А то ты не знаешь,— горько вздыхал Булён.— Мало ли ещё дряни на свете... Вроде бабки Осьмухи...

Я пригласил мичмана Булёна в гости.

— Красивая клеёнка,— сразу заметил хозяйственным взглядом интендант, разглядывая кувшинчики и шестерёнки.— Надо бы нам на док в столовую купить.

Мы сидели у макаронного стола-буфета и пили чай с Минькиным мёдом. Мичман, как гость, восседал на голубом подаренном табурете, а я на посылочном ящике.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Ночью меня кто-то толкнул. Я проснулся. Никого. Тихо. Может, показалось?

Но вот опять кто-то взялся за спинку кровати, толкнул и стал покачивать. Шаткая койка запищала и запозвякивала какой-то железякой. Будто я снова оказался в океане на «луковом» пароходе. А может, это со мной что-то стряслось? Колотит дрожь? Когда-то у меня был приступ малярии, и я сам не замечал, как меня трясло, слышал только, как зубы отбивали дробь.

Но нет, со мной вроде бы всё в порядке.

В дом что-то вошло, вселилось что-то невидимое — я это чувствовал. Какое-то движение, едва уловимые звуки... Я дотянулся и щёлкнул выключателем.

Лампочка раскачивалась. Так вот это что — землетрясение! Впервые в жизни я попал в такой переплёт. Уж что-что, а земля под ногами там, где я раньше жил, всегда была надёжна и покойна.

Ну вот, кажется, качать перестало. Лишь лампочка на длинном шнуре не могла успокоиться.

Я слышал, первое, что бывает при землетрясении,— это дребезжит посуда. Но у меня-то ведь её не было! Эмалированная кружка стоит себе на подоконнике, как стояла. Нет, электролампочка, пожалуй, более «чуткий прибор».

И тут опять толкнуло. Лампочка дёрнулась, её мерные размахи нарушились, и она стала качаться по-новому.

Я кое-как натянул брюки и выскочил в коридор.

— Землетрясение! — заорал я соседям.

За дверью завозились, из щели ударил свет. О господи, как же они там копаются, сто раз дом успеет развалиться!

А оно всё покачивает, и это очень неприятно, потому что ничего не можешь сделать и не знаешь, что будет дальше. И такое ощущение, будто покруживается голова.

— Ну, чего шумишь? — вышел, наконец, заспанный сосед.

— Землетрясение! Не видите, что ли?! Вон, лампочка раскачивается! На улицу надо!

— Разве это землетрясение? — зевнул сосед. — Это так... землешевеление. А лампочка — чего ей не качаться? Когда наверху пляшут, она тоже качается. — Сосед оглядел меня и предложил: — А ты беги, если хочется. В первый раз ведь, да? Все поначалу бегают. Раза два померзнешь на дворе и перестанешь.

Но мне, гляди на соседа, бежать на улицу уже расхотелось. Да и толчки вроде бы прекратились.

А сосед уже разгулялся.

— Слушай-ка, пойдём ко мне. Чайку выпьем по случаю твоего первого землетрясения. Потолкуем.

Мы сидели в тёплых мягких креслах и пили крепкий горячий чай. Было тихо и уютно. Из спальни доносилось мирное похрапывание хозяйки.

— Этим лампочкам не верь, они, чуть что, сразу качаются. Мы уж знаем: когда балла два-три — бокалы позванивают. Если четыре — вон тот Буратино с пианино летит. А побольше — фужеры кувыркаются. Тут, бывает, электричество вырубает: пожара чтоб не было, если кабель повредит. Ну, тогда уж надо на улицу — чего в потёмках-то сидеть? Только выходить надо с оглядкой: баллов в пять печные трубы могут посыпаться, кирпичи с крыши едут.

Но это редко случается. За двадцать лет, что мы здесь живём, только раз, кажется, было. В общем, трясёт частенько, но не сильно. Так-то лучше, говорят, когда земля почаще, но понемножку утряхивается.

«Что уж тут поделаешь? Если камчатской земле нужно утряхнуться, улечься поудобнее, придётся привыкать, — уговаривал я себя. — И куплю-ка, пожалуй, такие же фужеры, чтобы знать, какой силы идёт землетрясение. Да и Новый год скоро, не станешь же угощать шампанским из железной кружки?!»

А сосед мой совсем развеселился.

— Слушай, — говорит, — какой уж теперь сон? Пойдём на Димкиных

санках покатаемся. Погуляем немножко, а там и на работу скоро...

В небе висела луна. Голубовато светились крыши домов, замёрзшая бухта и дальние сопки; чернели обдутые ветрами, полузанесённые снегом скалы. Тускло поблёскивали стёкла спящих окон.

Земля спала. И невозможно было представить, как выглядит та сила, которая могла бы пошевелить её, такую большую, покойную и надёжную.

Мы по очереди катались с горки, разбегаюсь и нагая животом на маленькие санки.

— Вы чего это, мужики? — закутанный в тудуп, к нам подошёл сторож магаанна. — Новый год, что ли?

— Да какой там Новый год, — отмахнулся сосед. — Обычное землетрясение.

ДОКМЕЙСТЕР КИЛЬ

Небо вдруг завалила мгла, и день померк. Как всадники с шашками по улице промчались белые вихри, за ними сумасшедше понёсся снег.

Весь вечер крыша грохотала, словно там бегали в кованых сапогах. Это тонала, бесновалась пурга. Я долго не мог уснуть. За грохотом кровельного железа был слышен ровный гул, похожий на шум тяжёлого дальнего поезда. Казалось, где-то в глубине белой пурги работало большое злое сердце.

Под паскоками ветра оконные рамы охали и прогибались. От стёкол отваливались снежные пласты, но чёрные глазки тут же снова забивало снегом. Дом был полон каких-то звуков, шорохов и скрипов. Он побрякивал и упирался.

Ночью меня разбудил стук в дверь. За ней стояла белая фигура — пухлая снежная баба. Фигура отколунула снег с лица, и я узнал матроса с «Колымы». Так называлась большая, более ста метров длинной, рыбоперерабатывающая база. Она пришла к нам на завод месяца назад.

— У нас ЧП.. Сорвало «Колыму»... Швартовый трос перетёрло... А другой вырвало.

Я не представлял, чем могу помочь «Колыме», но мне нужно было быть там. Ремонт этого судна вёл я.

Пурга с размаху ударила в лицо, ослепила и задунила снегом, стала толкать его за шиворот и в рукава. Даже в карманах оказался снег.

— Не отставайте! — оборачивался матрос. — Потеряемся!

Я старался не отставать. Пурга успевала затянуть его следы. Укрыв лицо рукавом, наклонившись вперёд, почти падая, матрос плечом пробивал встречный ветер.

«Колыма» занимала слишком много места у ремонтной набережной, и её поставили пока на другой стороне ковша. Механизмы с неё сняли и увезли на ремонт в цехи. Пустая, она высоко и неприступно темнела в гудящей белой мгле, как бастион.

Впрочем, бастионного в ней было сейчас мало: какая уж это крепость, если её одолевает ветер?

Едва различимый в пурге, на берегу ворочался трактор. В свете его ослепших фар неслись потоки снега. Трактор старался удержать сорванную «Колыму». Но гусеницы его буксовали в сугробах, как в масле, и база медленно разворачивалась в сторону набережной, где стояли траулеры и сейнеры — маленькие, по сравнению с ней, и беспомощные, с разобранными для ремонта машинами. На них уже поднялась тревога, бежали люди: что будет с ними, когда тяжёлая «Колыма» с ходу навалится на них и начнёт мять рыбацкие суда?

— Вон где была! — показал мне посыльный. — Пока ходил, ещё снесло!

Отвернувшись от ветра, на берегу возле базы стояли встревоженные люди — вахтенный механик с «Колымы», наш заводской капитан, хозяин всей ремонтной гавани Саша Бородин, матросы... Они сделали всё, что могли, и теперь смотрели на меня — что я предложу?

Я тоже не знал, что делать. В такую погоду всё становилось очень сложным. Новый толстый, тяжёлый трос сейчас не завести. Заводские катера Саши Бородина тоже не помогут. Вызвать ещё один, два, пять тракторов? Но где их взять? Утих бы этот проклятый ветер! Как мне хотелось заткнуть его глотку, что дует с такой силой! Но пурга на Камчатке бывает и два, и три дня, и неделю... Беда! Беда надвигалась неотвратимо и грозно. Ревела пурга, молчали люди...

— Так что сказал докмейстер Киль? — спросил вахтенный механик.

— Сказал, придёт, — ответил посыльный. — Я дозвонился...

— Это хорошо! — сказал заводской капитан Саша Бородин. — Если уж он...

Инженер Киль был очень опытным докмейстером. Настоящим мастером дока. Умело и быстро поднимал он суда. Пожалуй, не было такого капитана на флоте, который бы не знал Киля. Никто не мог так хорошо, как это делал старый докмейстер, поставить в док аварийное судно, когда оно с пластырем на пробитом борту тихо плетётся, накренившись, на ремонт. Но что он мог сделать сейчас, этот Киль?

Я приехал не очень давно, но успел познакомиться с Килем. На заводе все, хотя бы немножко, знали друг друга. Он был мал ростом, с круглым усатым лицом и твёрдым взглядом серых выпуклых глаз. Похож на взъерошенного, только что подравшегося кота.

Киль слыл смелым и решительным человеком. Не знаю почему, но почти все решительные люди, с которыми мне приходилось встречаться, были малого роста. Может быть, потому, что они не боятся, как долговязые, упасть с высоты своего роста и не очень-то заглядываются себе под ноги?

Докмейстер появился, словно пришелец с другой планеты. На нём был тёплый комбинезон и большие лётные очки. Вот как надо одеваться в пургу!

Снег доходил ему до подмышек. Он разгребал его руками, будто плыл стилем брасс.

— Плохо, Иван Робертович! — прокричал ему Бородин. — Тащит на «рыбаков». Подавит!

— М-да, — покачал головой Киль. Он протёр очки и снизу посмотрел на возвышавшийся нос «Колымы». — Ещё бы, такая парусность! И ветер в борт, в упор... Сколько швартовых держит?

— Один носовой трос. И тот потравливается... Как струна!

— К носовому не подходить! Лопнет, завьётся — смерть! Распорядитесь, вахтенный, никого не подпускать! Я — к трактору!

И докмейстер ввинтился в пургу, исчез. Его «парусность» была меньше, чем у любого из нас. И вообще он на пургу, казалось, не обращал внимания, будто её не было...

— Пустой номер! — махнул рукой Киль, вынырнув из белого меса. — Внизу под снегом лёд от высокой воды, от прилива, трактор скользит, того гляди, «Колыма» его в бухту тащит!

— Ох, навалится, ох, подавит, — запричитал заводской капитан. — Что делатьто, Рыбич?

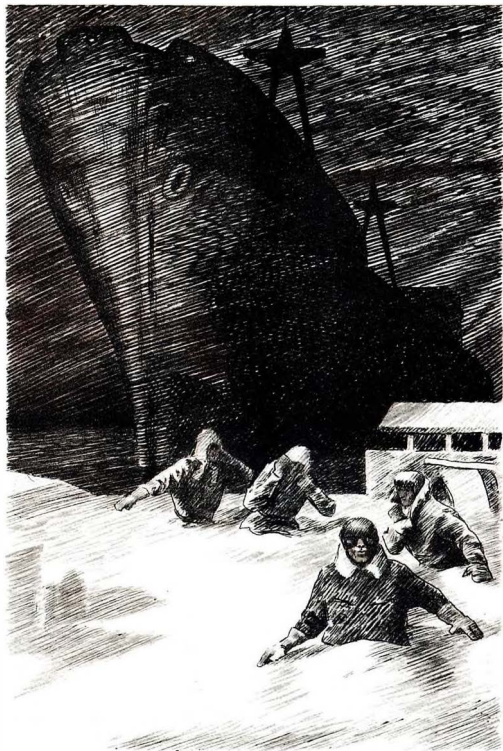
— «Что делать, что делать», — передразнил Киль. — «Делать» раньше надо было. Раскрепляться надо было хорошо, вот что делать. Не в Рио-де-Жанейро находитесь, а на Камчатке! А здесь, между прочим, пуржит иногда...

Я посмотрел на часы: три часа ночи. В такую погоду мало-мальски светло будет часов через пять, через шесть...

— А где лёд из ковша? — вдруг спросил Киль.

— На что тебе, Рыбич? — безразлично ответил Бородин. — Вон поле ледяное, его ветром в бухту выжало.

— Саша, давай катера! — закричал докмейстер. — Срочно! Пусть загонят льдину назад в ковш! Поставим её между «Колымой» и сейнерами.



Буфер — понимаешь? Бу-фер! Конечно, поначалу обкрошится малянько, а потом выдержит! Как стекло: в плоскость — пальцем выдавишь, а на ребро — клади хоть тонну!

— Иван Робыч, выход катерам сейчас запрещён! Шторм!

— Когда такое дело — можно! Нуж-но, Саша! Риск! Риск — благородное дело! Пусть смотрят друг за другом! Пусть все наденут спасательные жилеты! Давай, Саша! Вся надежда! Иди, командуй!

Теперь докмейстер знал, что делать. Его распоряжения были чёткими и требовательными.

— Проверьте, как там трактор! Держаться до последнего!..

— Поправьте трап на борту «Колымы»!..

— Сходите на сейнера! Все мягкие кранцы, какие есть, — на борт! На всякий случай, если «Колыму» не удержим. Бережёного бог бережёт!

Сквозь рёв пурги послышался звук работы катерных дизелей.

— Вышли! Вышли катера!

Оба катера, «Серп» и «Молот», крутились у дальнего края ледяного поля, пытаясь отжать его ото льда в бухте и затолкать назад в ремонтный ковш.

— «Колыма»! Фальшфейеры есть? Зажгите, покажите с кормы катерам, куда подавать льдину!

Медленно, очень медленно белая льдина стала наползать на чёрную воду ковша. На «Колыме», пробивая мрак и пургу, вспыхнул зеленовато-белый фосфорический свет фальшфейера — ракеты на рукояти, ракеты-факела. Вахтенный махал с кормы фальшфейером, показывая катерам, куда направлять ледяное поле. Оно подошло уже к базе и могло помять оголившийся гребной винт.

— Осият ли катеришки? Тяжёлая льдина-то! — усомнился кто-то.

— Вот и хорошо, что тяжёлая! — ответил Киль. — Такая нам и нужна — тяжёлая! Ей лишь ход дать, а там она пойдёт!

...Как медленно, невыносимо медленно двигалась в ковш льдина! Упираясь носами, натужно ревели катера. Всё меньше, всё уже полоса чёрной воды, бесследно заглатывающей косые снежные вихри... И вот ледяное поле беззвучно ткнулось в берег, в ржавые борта рыболовных судов. Наконец-то!

— Всё! — докмейстер Киль будто вытер рукой пот со лба. — Отпусти-те трактор. «Колыма» сама прижмёт льдину — и порядок! Никуда не денется. Саша! Готовь приказ! Я сам подпишу у директора. Надо отметить ребят с «Серпа» и «Молота». Тракториста не забудь! Молодцы!



И все, кто стоял на берегу, облегчённо задвигались, заулыбались и заговорили, перекрикивая пургу. Подошёл усталый тракторист, мокрый от снега, пропахший соляжкой.

— Всем спасибо, дорогие товарищи! — Киль чуть поклонился, как на сцене. — Можно спать!

Ни Киль, ни я домой не пошли. Эту тревожную ночь мы досыпали на «Колыме».

А через месяц пришло время «Колыме» идти в док. Вездесущие буксирчики «Серп» и «Молот» потащили плавбазу на докование.

А дока почти не было. Он уже погрузился. Из воды торчали лишь верхние части башен с рукастыми кранами. Между ними прокатывались волны, болтались мелкие льдинки и всплывший строительный мусор — обломки досок, куски пробковой изоляции, щепки...

— Боцман! — ругался Киль. — Опять этот «компот» в доке? Надо чище убирать док перед погружением!

Докмейстер командовал сейчас и доком, и заводскими буксирами, и «Колымой». Он был озабочен и рассержен, даже свиреп. Его котовьи усы топорщились и подрагивали. На него смотрели как на дирижёра.

Но вместо дирижёрского пульта под ним была длинная, будто беговая дорожка, топ-палуба башен, а вместо дирижёрской палочки — огромный блестящий рупор. Маленький Киль с руном в руке был похож на огнетушитель с раструбом сбоку.

— Майна! — кричал докмейстер. — Ещё майна! Опускаемся ещё ниже. Это же плавбаза, а не баржонка, ей глубина нужна!

И док продолжал погружаться. Всегда неприступно-высокие, его башни сейчас едва возвышались над водой. Можно было даже заглянуть на топ-палубу, где бегал, топоча каблуками, и размахивал руками Киль. Морской ветер свободно входил в его матросские клёши и раздувал их, как чёрные пароходные трубы.

— Стоп майна! Заводите судно!

Все в серьгах старых автопокрышек, «Серп» и «Молот» упёрлись носами в ржавый бок «Колымы» и взбили винтами стылую воду. Плавбаза осторожно двинулась в док, заполняя пространство между его башен.

— «Колыма»! Дайте конец на шпиль! Давайте трос, будем подтягивать шпилем! Шевелись, «Колыма»! Чумаки на волах красивее на ярмарку въезжали, чем вы в док входите!

Но вот огромное судно заведено и поставлено точно над заранее приготовленной постелью, находящейся под водой.

— Вир-ра! Начали подъём!

Зарокотали мощные насосы, откачивающие воду из понтонов. Растут, поднимаясь из воды, всё выше становятся мокрые башни. Уходят ввысь ажурные крапы, дальше становится Киль. Всё больше обнажается «Колыма», уже видно её днище...

Док всплыл. Последняя вода стекает с его стапель-палубы. Киль спускается по трапу степенно и торжественно, как главнокомандующий для смотра войск. Мы вместе ходим под округлым днищем «Колымы», похожим на брюхо гигантского кита. Какие бездны видело оно, сколько рыб проплывало под ним!

На лице докмейстера молчаливая гордость: велика ты, «Колыма», а он, маленький Киль, сильнее!

С днища судна висают зелёные бороды водорослей, оно густо обросло ракушкой-белянусом. Ракушка похожа на лесной орех, плотно сидящий в своей зелёной чашечке. Или на жёлудь. По-русски белянус так и называется: морской жёлудь.

Киль отколупнул щенкой ракушку, прищурился на «Колыму»:

— Эх, старушка! Сколько же тебе пришлось таскать лишнего груза, надрывая свой потрёпанный двигатель!

Рабочие уже приступили к очистке днища, обмывали его водой из шлангов. Под ногами шумно хрустели морские жёлуди.

— Иван Робыч! Русалку поймали!

Молодой рыжебородый матрос нёс что-то тяжёлое, завернутое в грязный промасленный ватник.

— Скользкая! Без куфайки не удержать!

Из свёртка торчала лысая усатая голова с печальными круглыми глазами.

— Это что за образина? — недовольно буркнул Киль.

— Русалка, Робыч! «Нюрка». Молодая ещё. Зазевалась на доке, её и подняло.

Нюрка укоризненно поглядела на докмейстера и вздохнула. Из её тёмного влажного глаза выкатилась слеза.

— А, нерпа, — присмотрелся Киль. — Не видели? — повернулся он ко мне. — Полюбуйтесь. Редкий гость. Рыбу почти каждый раз поднимаем — бычков, камбалу, — а тюленей редко. Вам повезло.

Нюрка вся была покрыта модным нерпичьим мехом. «Никогда не буду носить такую шапку», — решил я. А выражение её морды было испуганным и обескураженным. Видно, ей было очень плохо от того, что она по молодости и любопытству заплыла в притопленный док, замешкалась в нём и теперь оказалась запелёнутой в старую спецовку.

— Ну, показали — и в бухту! — приказал Киль. — Может, ей нельзя столько без воды. Не мучайте животное.

— В бухту — так в бухту! — согласился рыжебородый. Похоже, он сам не знал, что делать дальше с попавшейся нерпой.

Нюрка как по маслу соскользнула с рук матроса, плюхнулась в воду и исчезла в зелёной глубине.

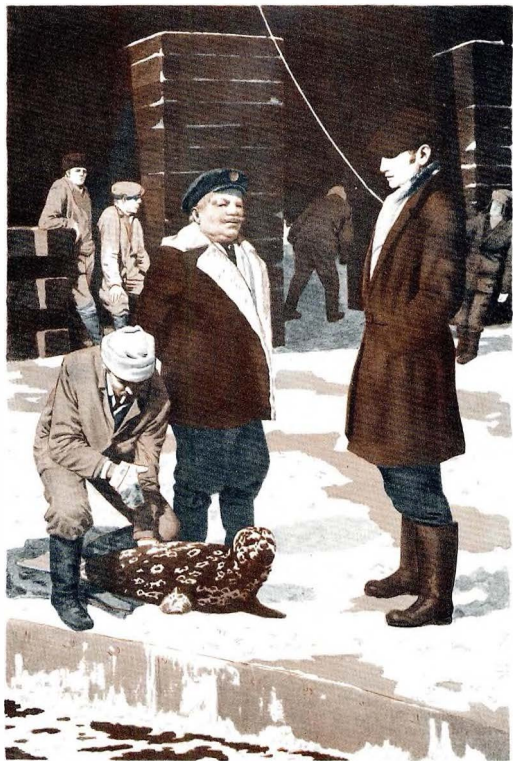
— Прошу на чай! — пригласил меня Киль. — «Колыма» встала хорошо. Пойдёмте, посидим...

В кабинете докмейстера пахло кожей дивана и крепким кофе. Свет из-под абажура падал только на стол. Громко и домовито постукивали морские часы. На стенах висели высушенные морские звёзды, панцири колючих морских ежей и большой — королевский — краб.

Иван Робертович позвякивал ложечкой, дул в обжигающий стакан и тарасил глаза, становясь похожим на нерпу Нюрку.

— Приходите ещё! — говорил Киль. — А то вы один, я один — чего нам двоим по одному? Вместе-то веселее!

За квадратным иллюминатором золотым фазаньим хвостом длинно летели искры газорезки — это вечерняя смена приступила к ремонту «Колымы».



ТЕПЛЫЙ СНЕГ

В детстве я любил свои дни рождения. И Новый год. Эти два дня сразу делали меня взрослее. Проснёшься утром в день рождения — и тотчас взгляд на тумбочку: ну-ка, что там такое? Может, проснулся слишком рано, не успели положить? Тогда надо поскорее закрыть глаза, пусть думают, что я ещё сплю...

Но там уже лежало! Чаше всего — новые, великолепно пахнущие типографской краской книжки от мамы и новенький, сверкающий перочинный ножик от папы. Ножи я обычно терял, а книжки накапливались, и многие из них целы до сих пор. Могло быть на тумбочке и ещё что-нибудь.

Единственно, чего никогда не бывало, — это штанов или башмаков. Это было не интересным. Неужели, не будь дней рождения, я ходил бы босой или без штанов?

Но теперь мне думать о дне рождения не хотелось. Даже грустно немного. Что в нём? Взрослее я уже не буду. Просто я стану на год старше. А это не очень весело. Родные от меня далеко. И на Камчатке я недавно, друзьями ещё не обзавёлся. И день рождения, как назло, попадает в выходной...

Правда, один друг у меня есть — Модик. Но он какой-то общий друг, все вокруг ему друзья. А когда общий — значит, ничей. Но лучше уж с Модиком ехать на лыжах, чем сидеть в такой день дома. Он как-то звал меня съездить на озеро Дальнее.

— На озере ихтиологическая станция, — уговаривал Модик. — Рыб изучают. Там у ребят и переночуем.

— А ты знаешь?

— Ребят-то? Не. Я там не был. Какан разница? Договоримся.

Озеро и впрямь оказалось дальним. Двумя автобусами мы добирались полдня. Да ещё на лыжах нужно было километров восемь.

— Вот, — смущённо показала мои лыжи Модик, вылезая из переполненного автобуса. Модик вёз двое лыж, а я нагрузился обоими рюкзаками. — Вот, видишь...

Нос моей лыжи был сломан. Я не только видел — я слышал, как что-то хряпнуло на задней площадке автобуса, где Модик, забыв про лыжи, балагурил с какими-то девушками. Теперь я тащился вслед за Модиком, оберегая кое-как скреплённую лыжу, и думал о нём по-разному. «Конечно, он парень весёлый и общительный, — думал я, — но в разведку с ним идти нельзя, он чужие лыжи ломает...»

— Тут недалеко, — утешал меня Модик. — Ещё немножко...

— Откуда ты знаешь? Ведь ты не был...



Мне почему-то захотелось, чтобы всё было наоборот: пусть уж будет подальше! Пусть заночуем в лесу! Будет знать тогда, как лыжи ломать!

Мы добрались, когда начало смеркаться. Всё перед нами было белым и чёрным. Белое озеро. Белые сопки. Чёрные корявые сучья берёа. Чёрный сарай. Тёмный длинный дом с большими окнами. Белая пухлая крыша, далеко отвесившая перед окнами снежные губы. Чёрная на крыше труба... Только две большие собаки были жёлтыми. Шотландские овчарки — колли. Потряхивая длинной шерстью на груди — подвесами, — собаки с лаем ринулись нам навстречу. Они не обратили внимания на Модика и проскочили ко мне. Наверное, со мной им было интереснее, потому что я как раз упал и лежал на спине, привязанный к лыжам.

«Пусть уж они нас сожрут, эти псы, — подумал я. — Один меня, а другой Модика. Его — обязательно! Будет знать...»

Обе собаки набросились на меня и стали восторженно лизать мне щёки. Тут Модик тоже упал, и собаки кинулись к нему.

— Чего это вы валяетесь? — На лай собак из дома вышел парень. Тоже чёрно-белый: свитер белый, а валенки чёрные.

— Мы из города, — невесело объяснил я. — Отдыхаем...

— Нас сразила любовь этих собачек! — отмахиваясь от языков до- бавил Модик.

На пороге появился ещё один парень, тоже в валенках и в свитере. Только в чёрном.

— Место! Джильда! Герцог! Где место?

Место оказалось на крыше сенец. Покачивая благородными подвеса- ми, собаки зашли по сугробу на крышу и улеглись там калачами.

А на крыльце появился ещё один обитатель дома — кот. Невиданных размеров, дымчатый, мордатый. Он равнодушно посмотрел на нас, распушился по-уличному, дёрнул хвостом и прыжками побежал к сараю.

— Опять к волу! — сказал парень в белом свитере.

— Я там дырку заделал, — спокойно ответил в чёрном.





- От Барбоса не заделаешь!
- Не пора ли «Катю» толкнуть?
- Рапавато, надо поберечь солярку...

Чужая жизнь навалилась на нас своими подробностями, мы не успевали их понимать.

— Я кинулся к тебе, думал, они рвут, да сам упал! — хохотал в снегу Модик.

Впечатление от встречи с собаками было пока самым сильным.

— Ты упал от зависти, — сказал я Модиду. — Увидел, как они меня облапили, и нарочно шлёпнулся...

— Всё ясно! — сказал парень в чёрном, как бы отсекая этим всё, что было до сих пор, и напоминая, что у нас начинается новая жизнь — на рыбной станции. — Будем знакомиться!

— Модест! — протянул руку из сугроба Модик. — Вообще-то, все зовут Модик...

Нас подняли и оглядели. В доме больше никого не оказалось — парни жили вдвоём.

Тот, что в белом свитере, с тёмной бородой, назвался Гепой, а в чёрном, с русой бородой, — Колей. Они были похожи на выросших Чука

и Гека: один, Коля, был рассудительный и хозяйственный, а Гена, па-
верное, умел петь песни. И жили они в таких же глухих краях среди
диких гор и глубоких снегов.

— Не скучно?

— Не! — в один голос бодро ответили парни. Но видно было, что
обрадовались они нам не меньше, чем Джильда и Герцог.

«Даже если и скучновато, зачем говорить об этом? — подумал я.—
От этого будет только ещё скучнее, вот и всё...»

— Дел много, — стал объяснять Коля. — И дома, и на озере...

— Сами вызвались зимовать, — перебил его Гена. — Чтобы летние за-
диси обработать. Летом тут у нас народу — полон дом. Весело!

— Да и зимы-то осталось — всего ничего! Считаю, отцурговали!

Парни зимовали в маленькой комнатке с разрисованной печью.
Остальной дом был холоден и пуст. Там на кроватях громоздились горы
саёрнутых матрасов и спальных мешков, а на столах и подоконниках по-
блёскивали всевозможные банки и склянки, пробирки, колбы, бутылки...
Коля деловито расчистил один из столов от этой посуды и консервной
жестянкой сбил мою лыжу.

— Завтра вместе пойдём. Покажем вам наши места.

Вечером мы топили печь. Отсветы огня из открытой дверцы бродили



по стенам, выхватывали наколотые фотографии и смешные рисунки. Нет, не скучали здесь парни, и было у них уютно и весело!

Касаясь друг друга плечами, мы сидели рядом на лежанке, глядели в огонь и сумерничали. На плите стояло эмалированное ведро. В нём варился суп. Коля освещивал фонариком в ведро, слёбывал с обжигающей ложки.

— Пусть ещё покипит. Наваристее будет.

За стеной стояла тишина, какая могла быть только здесь, на заповедном озере. Да и в доме звуки были наперечёт: потрескивали дрова, бормотала в ведре похлёбка, звучали негромкие наши голоса. И все мы повернули головы, когда раздался новый звук: за дверью что-то заскреблось.

— Барбос... Ген, открой ему.

Вошёл, как хозяин, кот, прищурился на пороге, прикидывая, всё ли в порядке. Он выбрал меня, подошёл и стал точить на мне когти. Как гости, вошли собаки и легли деликатно в сторонке.

— А всё-таки, он опять был у вола,— пригляделся к коту Гена.— Вон бамбур какой!

— У какого «вола»?

— Да нам ещё в начале зимы привезли здоровенную тушу, вот и едим все вместе.

Подёргав за штанину, кот в два прыжка оказался у меня на плечах и улёгся на шее.

— Излюбленное место. Сбрось его, он тяжёлый.

Но я сидел не шевелясь и слушал, как кот довольно фырчал, пел мне в ухо. Ни кота, ни собаки у меня дома не было — потерплю!

— Пойду, всё-таки, толкну Катю,— стал одеваться Коля.— Надо радио послушать.

— Катя? Кто это?

— Не «кто», а «что»,— засмеялись парни.— Наша маленькая электростанция. Кто-то назвал эту тарихтелку «Катюшей», с того и пошло.

Вскоре на дворе, запинаясь, застучал движок. В электролампочке закраснел волосок, раздышался и залил комнату ярким светом.

«Московское время двенадцать часов,— сказал знакомый голос диктора.— Передаём последние известия...»

А у нас на Камчатке было девять вечера. Мы уже почти прожили этот субботний день, который начинался в Москве. Нам оставалось совсем немного: поужинать, послушать новости и лечь спать.

В большом людном мире сражались за свободу вьетнамцы, бастовали рабочие Америки, в Большом театре готовилась премьера, на юге нача-

лись первые футбольные матчи, а здесь, в заметённом пургами доме, мы сидели за столом вокруг дымившегося ведра, обжигались бульоном и поглядывали на зелёный глаз радиоприёмника.

— Красиво живём, мужики! — восхищался Модик. — Ей-богу, я бы с вами зазимовал!

«Хороший он человек, — думал я. — Весёлый, компанейский... Молодец, что вытащил меня сюда. Зря я разозлился за лыжи — с кем не бывает?»

То один, то другой, Гена и Модик поигрывали на гитаре. И всем нам хотелось вспомнить какую-то самую нужную, самую подходящую песню, а она всё никак не вспоминалась...

На полу, как пышные меховые ковры, лежали врастяжку собаки. Сзади по лежанке топтался кот. Ласкаясь, он бодал нас в спины, подсовывал под локти лобастую голову и урчал, будто погромыхивал цепью, которую принёс от сказочного дуба в лукоморье...

Из жаркой накуренной комнатки я ушёл спать на холодную половину. Забрался в медвежий кукуль — меховой спальный мешок, — согрелся и высунул нос.

Заиндевелые, изукрашенные морозом окна искрились от луны. Пробирки, трубки, воронки — все они наполнились её светом и поблёскивали, как сосульки. Ни одного звука не было в доме. Я высунул на холод ухо и услышал, как тихонько, шепотком перебирали секунды мои часы. От толстого меха исходило дремучее, берложье тепло. В таком кукуле не замёрзнешь и на снегу...

«Подарить бы ребятам часы с боем, — думал я, засыпая. — Пусть бы отбили сейчас полночь, медленно и густо... И будут слышать бой часов те зайцы, следы которых я видел перед домом. Может, они опять тут под окном? Жаль, стёкла заморожены...»

А потом по лунным квадратам на полу долго ходил пушистый, как дым, кот. Он заглядывал в кукуль и протягивал мне мягкую, толстую лапу...

Утром, едва продрав глаза, я увидел на столе возле кровати картонку. На ней фломастером было написано: «С днём рождения!»

Что за диво? Откуда это? Как они узнали? Ведь я ничего не говорил. Возле картонки лежали подарки: отличный нож Модика с костяной ручкой и что-то меховое, пёстрое. И телеграмма — из дома! Как она попала сюда, на озеро Дальнее?! Да уж не снится ли мне это, как снилось всю ночь что-то котовье и лукоморское?

«Меховое» — это был Пихлач, корякский мужичок из оленьего меха, обладающий невероятной силой, — подарок парней-ихтиологов. Нет, откуда они всё-таки узнали?

— Эх ты, Емеля-следопыт! — рассмеялся Модик. На него парни зашикали, но держать что-то в секрете было ему не под силу. — Не можешь догадаться? А телеграмма? Не понял? Почтальонка хотела вручить тебе вчера, по воскресеньям она не работает, а я встретил её у твоих друзей и забрал, чтобы отдать в день, который там указан...

Утро встало ясное, с тихим строгим морозцем. Мы натирали лыжи, и сопки возвращали нам все звуки — стук палок, смех и голоса.

— Мороз и солнце, день... воскресный! — появился на крыльце Гена. — Просто замечательно, что вы приехали! Без вас мы не выбрались бы.

Наверное, летом в такое утро погожего дня висел бы туман. Но сейчас морозец подсушил его, и в воздухе посверкивала, искрилась какая-то снежная пыль.

— Я считаю, такая зимовка вам, мужики, как награда! — восклицал Модик. — Такая красота! Да ещё у воловьей туши!

«Ада-ада-ада... — откликались сопки. — Уши-уши-уши...»

— Посидел бы здесь, когда недели на две придавит пурга, а потом хоть через трубу вылезай, — охладил его восторг Коля. — Узнал бы, что это за «награда».

Но сейчас, в начале апреля, всё это было уже позади. В Москве-то, небось, уже кое-кто ходит раздевшись, дымится и сохнет на пригреве асфальт... А здесь лежали самые высокие, самые глубокие снега. Почти всё, что положено, зима уже выпала, а солнце подточить их не успело. Берёзы, как кусты: стволы ушли в снег. Откосы сопки округлы, пухлы и плавны.

Ночной мороз заковал сугробы настом, припорошил их инеем, и лыжи, как по маслу, шли великолепно.

Сегодня всё было белым и синим. Высокое синее небо стояло над белыми сопками. Ослепительно белели пологие длинные склоны, синий холм стоял в тени, не тронутый солнцем. Синее кружево теней, отброшенных корнями берёзами, летело под лыжи. Большие жёлтые собаки, красавицы колли, срезая путь, спустились стороной по белому откосу и вдруг исчезли, как провалились.

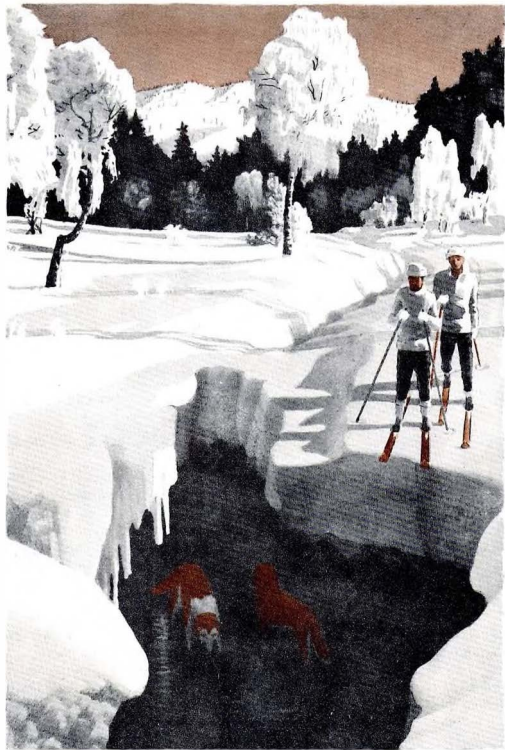
— Ручей! — показал палкой Гена. — Ручей Бубенец.

Глубоко в снегу, нависавшем с берегов пухлыми краяхами, лопотал чернильно-синий ручей. Кое-где краяхи дотянулись друг до друга, спросил, и ручей замолчал в снежном тоннеле.

Обрушив сугроб, в ручье стояли, лили собаки.

— Чудаки! — сказал им сверху Гена. Носки его лыж нависали над ручьём. — Как вылезать-то будете?

Собаки подняли головы, вежливо шевельнули хвостами и пошлёпали





по ручью. Из-под краухи вылетел куличок и с писком исчез в белом извилистом коридоре.

— Милый! Да как же ты тут перезимовал?!

— Каждый год находятся такие отчаянные, — сказал Гена. — Отпугуют под снеговой крышей, перетерпят. Главное, ручей не замерзает...

Слепило солнце. Слепили нетронутые снега. В распадке, со всех сторон закрытом сопками, стало жарко. Но снег не таял. Он отражал солнечные лучи. От него, холодного на ощупь, исходило тепло. И мы разделись до пояса, набив одеждой рюкзаки. Теперь мы шли вдоль ручья. Бубенец приманил нас своим живым говорком, блёстками быстрой воды. И тут начали выскакивать зайцы. Круглые, пушистые беляки. Они появлялись, как из-под земли, через каждые сто—двести метров. Наверное, мы въехали в заячью колонию, расположившуюся на берегах Бубенца.

Это были удивительные зайцы. Все зайцы, с которыми мне приходилось встречаться, всегда удирали со всех ног так, что хотелось погнаться за ними, они путали следы и прятались так, что хотелось их найти.

А эти и не думали удирать. Они выскакивали со своих лёжек, отбегали метров на пятнадцать и садились, отбросив на снегу лоскуток синей тени.

— Ф-ф-уу! — угрожающе шишел на собак Коля. — Не трогать!

Но добродушные собаки не кидались и даже не лаяли — лишь помахивали пушистыми опахалами хвостов и удивлённо косматривали то на зайчишек, то на хозяев: что это за чудачи такие?

— Непуганые, — сказал Гена. — Они, может, вообще впервые видят человека.

— Тем более — полуголого!

Я охотился на зайцев, они не раз становились моей добычей. Но не меньше чем трофей и как-то совсем по-другому радовали меня эти беляки, безбоязненно разглядывавшие нас тёмными выпученными глазами, доверчиво ковылявшие на цухлых, чуть желтоватых снизу лапах. Из всех подарков, которые преподносил мне нынешний удивительный день, этот был, пожалуй, самым дорогим и необыкновенным...

— Отважные джентльмены! Не пора ли нам пополднивать? — Гена облюбовал местечко у ручья и развязал рюкзак.

Необычным был и наш полдник. Мы ели сгущёнку с печеньем, запивая это роскошное кушанье очень холодной и очень вкусной водой ручья.

...На длинных спусках лыжи несли так, что берёзы сливались в сплошную полосу. Ветер слезил глаза, обнимал и студил разгорячённое



ходьбой и солнцем тело. Кое-где на приёме снег отдался, превратился в шуршащую кашу. Такой зернистый снег называют фирновым. Разогнавшись под гору, я врезался в фирн, провалился и полетел через голову.

Теперь оказался сломанным нос у другой лыжи... Хорошо, что это было уже недалеко от дома. Лицо у меня горело. Я проехался физиономией по фирну.

— Опять нос? — подъехали, стали сочувствовать ребята. — У тебя самого он тоже ободран, ссадина сверху донизу. Промокли снегом!

«Что ж, надо принимать и такие «подарки», — плёлся я по пробитой ребятами лыжне. — Три носа! Хорошо хоть, что третий, мой собственный, только ободран...»

Этот удивительный день кончился не менее удивительной баней. В лесу, среди берёз, обросших мохнатым сырым инеем, торчала красная труба с большим, как рулевой штурвал, маховиком. По каким-то приметам, одним им известным, геологи обнаружили под землёй горячую воду и пробурили глубокую скважину. В неё-то и была забита труба. Перед ней парила купальня — обстроенная досками квадратная яма.

— Эх, поддадим горяченькой! — Модик отвернул маховик, из трубы ударила толстая струя. Белый нар окутал берёзы, поплыл по сумеречно-мохнатым лесу.

Вода в бассейне доходила до подмышек. Спрыгнув в него, мы сразу стали красными как раки. Очень уж горяча получилась наша купель! Но после лыжной работы это было приятно.

— Ты кунайся, кунайся, нос мочи, — напоминал мне Модик. — Эта вода целебная, помогает!

Ослабев от ванны, мы выбирались, падали в снег, не чувствуя его холода.

— Ах, хорошо! — Модик вскакивал и прыгал среди мохнатых берёз, голый и красный, как дикарь. — Чудо! Где ещё может быть такое?!

Тихий вечерний лес отдавался эхом на наши вопли.

— Эх, ещё горяченькой! А ты кунайся! Нос мочи!

...Утром я проснулся и долго оглядывал свою комнату. Принято горели подпалённые солнцем плечи, чуть резало уставшие от снега глаза. Как сон, как сказку вспоминал я вчерашний день: дом на берегу озера, синие тени, зайцы, купание в безлюдном заснеженном лесу... Было ли это? Но на подокошнике Пихлач! И рюкзак в углу. Есть ещё одно свидетельство — ободранный мой нос. Как он? Я поглядел в зеркальце и увидел, что ссадина затянулась, остался совсем небольшой следок. День чудес преподнёс ещё одно чудо!

«Было! — решил я, окончательно проснувшись. — Всё это было. И есть. Стоит лишь сесть на автобус и поехать. Но, говорят, одна и та же сказка дважды не приходит...»

ПЕПЛОПАД

Странную я получил посылку. Маминой рукой на ней было написано: «Осторожно! Стекло!»

Что за стекло? Зачем оно мне здесь, на Камчатке?

Я осторожно раскрывал бесчисленные обёртки, но пока ничего стеклянного не находил.

Когда-то уже было так: друзья прислали мне бандероль, в которой среди вороха упаковок я обнаружил одно-единственное пёрышко рондо и записку: «Пиши нам письма...».

Но мама-то так шутить не будет!

Наконец я извлёк завёрнутую в вату деревянную резную доску с металлическим ушком-вешалкой. Но стекло тоже было. Оно закрывало круглый циферблат с делениями и словами: «буря», «дождь», «ясно», «сушь».

В посылке оказался барометр. Давний знакомый! Я помнил его с детства.

Он висел в прохладном тихом кабинете моего дедушки. Барометр был очень стар. Даже слово «переменно» было написано через «ять»: «перемѣнно». А ведь эту непонятно для чего существовавшую букву отменили сразу после Октября.

Но, несмотря на возраст и букву «ять», барометр был чуток и верен. Я помню, дед не раз похвалял его.

Для барометра наступила трудная жизнь. Погода на Камчатке меняется быстро и неожиданно. Вдруг наползут от океана, скрывая сопки, сивые тучи, вырвется, как из распахнутых ворот, сумасшедший ветер и завьются белые вихри. А ведь только что было солнце!

Но уляжется снеговой заряд, и снова засверкает под его лучами молодой нежный снег. Даже с крыш капель...

Старик-барометр изо всех сил старался поспеть за капризами камчатской погоды. Его стрелка металась из стороны в сторону, заскакивая то за «великую сушь», то за «великий дождь». Я отпосился к нему как к живому существу. У него было красивое заграничное название: «анероид». От стука пальцем по стеклу анероид вздрагивал своим нервным нутром, кивал синей стрелкой на «великий дождь» и словно бы гонорил: «Я знаю, завтра выходной, и ты собираешься на рыбалку. Но и ты знай,

что погода будет из рук вон мерзкая, и я, конечно, тут ни при чём...»

Но в то памятное воскресенье, о котором теперь пойдёт речь, ничто не предвещало ненастья. Сияло солнце. На подоконнике под его лучами охорашивались и гурковали голуби. Барометр устойчиво держал стрелку там, где было написано: «х. погода». Зимой это, возможно, могло говорить о «холодной погоде», но сейчас стояло лето, конец июля, и «х. погода», конечно же, означало только одно: погода и дальше ожидалась хорошей. По крайней мере на ближайшие пару часов. И я стал быстро собираться на прогулку к океану. А чтобы было веселее идти туда четыре километра, я решил пригласить Воздухова. Человек с такой фамилией, звучавшей, как глубокий вздох, жил в соседнем доме. Я познакомился с ним недавно в магазине. У него оказалась редкая специальность: вулканолог. Специалист по вулканам. Мне ещё не приходилось видеть ни одного вулканолога. И хотя в магазине Воздухов более всего интересовался обычными вещами, вроде макарон и томатных консервов, я подумал, что интересно бы с ним познакомиться поближе.

— Если бы я не был вулканологом,— сказал Воздухов,— я стал бы океанологом. Жутко интересно! С удовольствием составлю компанию. Надо только аппарат зарядить — снимаю морских ежей и звёзд.

Мы уговорились встретиться на углу.

Но что-то изменилось на улице, пока я был у соседа. На небо напозла-ла какая-то хмарь. Солнце тускнело на глазах. Стояла тишина. Только фырчал возле магазина грузовик да веселилась радиолоа, по-воскресному выставленная где-то на окно. Может, мой старикан-барометр испортился? Или просто наврал? Его стрелка упорно стояла на том же месте.

А туча сгушалась. Солнце едва проглядывало сквозь неё. Оно приобрело странный зеленоватый цвет. Как незрелый лимон. Люди оставались и поглядывали вверх. И тут я заметил, как в небе замелькали снежинки. Да что такое? Тепло, тихо — откуда этот снег? А он уже повалил, как из мешка. В полной тишине он ровно покрывал землю, крыши, плечи и головы прохожих! Необыкновенным был этот снег! Он был серым. И не таял. Он лежал на ресницах и волосах людей, вился за их ногами, клубился облачком, когда взлетали голуби. Лёгкие снежинки-чешуйки щекотали мне уши и щёки, забивались в ноздри. Я растёр их пальцами. Чешуйки не пачкались и ничем не пахли. Да что же это такое?

Взбивая прах, промчался зелёный газик. В нём сидел вулканолог Воздухов.

— Пеплопад! — крикнул он мне на ходу. — Срочно еду! Наверное, Авача рванула!

Авача — наш «домашний», самый близкий к городу вулкан. Когда происходит что-нибудь вулканическое, всегда в первую очередь грешат на Авачу.

Пеплопад! Я даже не знал, что бывает такое. Я видел листопады, снегопады... Слышал, что в горах бывают камнепады. Но чтобы с небес надал пепел!

Пеплопад продолжался несколько минут. Потом небо очистилось, снова засияло солнце. И я отправился к океану.

Деревья, трава и кусты — всё было покрыто слоем лёгкого пепла. Каждый шаг вызывал маленький взрыв. Я топал ногой, и из-под сапога, будто «чёртов табачок» из переспевшего гриба-порховика, выбивался дым.

С вершины сопки я видел Авачу. Её ровный конус спокойно курился, как всегда, белым дымком. Не похоже, чтобы она была виновата в нынешнем происшествии...

На склоне я сиюгнул зайца. Как за выброшенной дымовой шашкой, как за всадником-гонцом, скачущим по пыльному шляху, за ним пухлым шнуром клубился прах.

— Авача тут ни при чём, — сказал мне вечером вулканолог. — Это ожил Карымский. Наши туда уже умчались на вертолёте. Взорвался, выбросил тучу пепла на двадцатикилометровую высоту, а здесь, за триста километров, он осыпался на город.

«ГЕРКУЛЕС» И ТРЯСОГУЗКА

В конце зимы к нам на завод пришёл большой сухогруз «Геркулес».

Как начинается ремонт судна?

Подтащили и поставили на борт «Геркулеса» наклонный трап-сходню. Подкатился по широким рельсам кран, протянул над судном руку-стрелу и стал вынимать механизмы для ремонта в цехах. Протянули, кинули на судно резиновые шланги с паром и водой, подключили толстый электрический кабель, чтобы на сухогрузе, где разобрана машина, было тепло и светло.

А заводской художник, как всегда, принёс и поставил на берегу возле трапа фанерные щиты, на которых был изображён график ремонта и написаны призывы:

ТОВАРИЩИ ДИЗЕЛИСТЫ! ОТРЕМОНТИРУЕМ
МАШИНУ НА ЗНАК КАЧЕСТВА!

КОРПУСНИКИ! НАША ЗАДАЧА — ЗАВЕРШИТЬ

РЕМОНТ КОРПУСА К 15 АПРЕЛЮ!

Повесили плакат и для малярного участка, которым руководил молодой мастер Стёпа Шишов:

ТОВАРИЩИ МАЛЯРЫ-ОШКРЯБИЩИКИ! ОШКРЯБАЕМ

«ГЕРКУЛЕСА» НА 2 НЕДЕЛИ РАНЬШЕ СРОКА!

Вместе с рабочими занялась ремонтом и команда: механики — машиной, электрики — освещением, радист — рацией.

К Стёпе Шишову подошёл, отдуваясь, тяжёлый вислоусый человек, вытер шерстяной шапочкой потное лицо и протянул толстую, как буханка, ладошь:

— Будем знакомы! Боцман Беседочка. Ты, что ли, малярный пачальник? Скажи своим орлам-шкребыхалам, что принимать очистку буду сам! Под платочек!

И достал из грязных брезентовых брюк белый носовой платок.

— Ладно, боцман! — спокойно сказал Степан. — Нас на «попьял-попьял» не возьмёшь. Платочки у нас тоже есть. Как положено, так и сделаем.

Боцман уставил на молодого мастера жёсткие запыленные глазки.

— Вот и договорились! — заключил боцман. — Просто я люблю, чтобы порядок был... Как «в лучших домах Лондона».

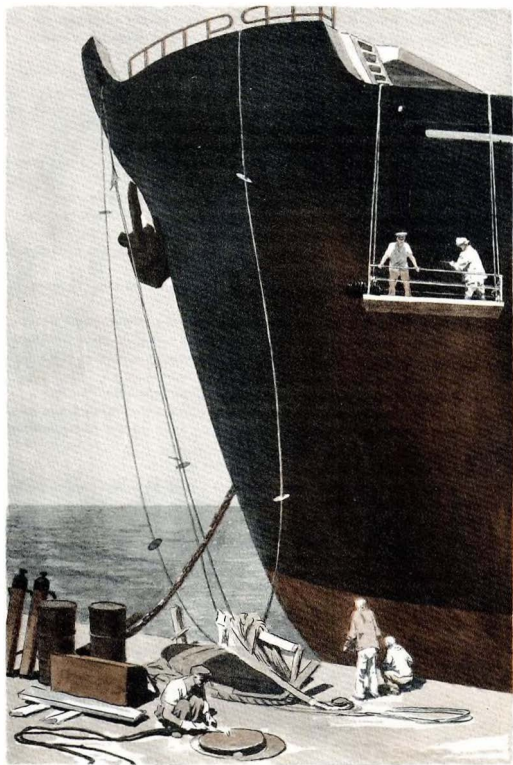
А маляры, заткнув уши ватой, облипли уже судно, принялись оббивать молотками, скребками, воздушными щётками старую краску и ржавчину. Из раскрытых трюмов задымилась рыжая пыль. Громкая работа! Пустой сухогруз загрохотал на весь завод, как огромная железная бочка.

— Вот идолы-то! — ворчали рабочие других цехов и матросы. — Скоро ли кончите?

— На две недели раньше графика! — улыбался Шишов. — А может, и раньше.

Когда сидеть в каюте становилось невозможно, капитан Звонцов надевал фуражку с большим лаковым козырьком и прогуливался по набережной вдоль «Геркулеса».

«Двести семьдесят четыре шага, — подсчитал капитан. — Длина судна сто шестьдесят шесть метров... Чему же равен один шаг?» Производя в уме деление, капитан придирчиво осматривал сухогруз, как шофёр свою машину после долгого трудного пробега. Сейчас, когда борт был очищен, заметны стали вмятины толстой металлической обшивки.



«Эта — когда танкер-датчанин, потеряв управление, привалился в Порт-Саиде, — вспоминал капитан. — Эта — когда поднимали рыбаков с тонущей японской шхуны... Эта...»

— Боцман! — крикнул он, заметив на палубе знакомую лыжную шапочку с помпоном.

Беседочка, на ходу отколупывая ногтем краску на руке, спустился на причал.

— Слушаю, капитан.

— Маляры, наверное, через недельку переберутся в нос. Пора освобождать ваши помещения.

— Куда денем имущество? — Сурик с руки не отколупывался.

— Решите сами, боцман, — повернулся капитан. — Хоть на причал.

— Бу-сделано, капитан, — коротко буркнул Беседочка. Он понял, что капитан в его проблемы входить не собирается.

— «На причал», — ворчал боцман, поднимаясь на судно. — Лучше уж просто выбросить, да дело с концом...

На причал боцманское имущество выкидывать, конечно, было нельзя. Любой, самый беззаботный хозяин не останется равнодушным при виде такого богатства. Растащат. Не будешь же всю ночь куковать возле ба-рахла!

Иван Михайлович Беседочка был одним из старейших боцманов на флоте. Он переплывал на многих судах и перевидел капитанов столько, что, припоминая их, сбивался со счёта. Любой капитан мог быть спокоен





при таком боцмане: порядок на судне он соблюдал, по его излюбленному выражению, «как в лучших домах Лондона». Как было в этих самых «домах», никто не знал, но даже старые угольщики-паровики, на которых доводилось когда-то плавать Беседочке, сияли у него, как пассажирские суперлайнеры.

Как обычно, боцманское имущество помещалось на «Геркулесе» в носу, в кладовых полубака, именуемых на всех судах «шкиперской» и «фонарной-малярной». Туда и направился после разговора с капитаном Беседочка, отыскивая в связке нужный ключ. В кладовой на стеллажах хранились ценнейшие вещи на любой житейский случай. Боцман Беседочка собирал их по всему свету. Бидоны с краской, занасливо прихваченные во время прошлого ремонта в Находке. Натуральный свинцовый сурик, вымеченный в Гамбурге. Новые, восковой свежести, манильские канаты, толстые коврики-маты из тростника, чтобы вытирать ноги у коридорных дверей, всевозможные тросы, шкертики, разнокалиберные кистки, флейцы, брезентовые чехлы, тенты... Даже пустая красная бочка нефтяной компании «Эссо».

— А это зачем? — пальцами тыкали в бочку матросы.

— Хорошей работы вещь, — ревниво прикрывал боцман дверь в кладовку. — Есть место? Есть. Ну и пусть полежит. Пригодится.

— «На причал»... Как бы не так, — обвёл взглядом своё богатство Беседочка. — Вот кончат работы в шестом трюме, сложу туда. И трюм задраю...

Но тут боцман заметил, как в полутёмном углу на стеллаже что-то ворохнулось. Какое-то движение. Крыса?

Вообще на «Геркулесе» крыс не было. На всех стоянках боцман всегда ставил на швартовные тросы жестяные круглые щитки-тарелки. Направляясь по толстому тросу с берега на судно, крыса не могла одолеть такого препятствия. Но сейчас, может, и завелась? Судно всю весну стоит в ремонте, и, кроме тросов, на борт ведёт широкий трап-сходня.

Вооружившись шваброй, боцман по-кошачьи подкрался к стеллажу. Но из угла вылетела птичка и привычно юркнула в трубу вентиляционного грибка. На стеллаже было гнездо. Маленькое круглое гнёздышко, аккуратно сделанное из сухой травы и пакли. В гнезде лежали четыре светлых, покрытых мелкими ржаво-чёрными крапинками, яйца.

— Вот те на! — удивился Беседочка. — Пока стоим, птицы у нас пообжились...

Боцман вышел на палубу и увидел небольшую птичку. Она сидела на лебёдке, подёргивая длинным хвостиком и глядя встревоженно на боцмана.

— Плисочка, — узнал её боцман и улыбнулся. — Трясогузка... Глупая, как же ты терпишь тут, среди такого адского грохота?

Ему вспомнилось, как когда-то пара таких же птичек поселилась за наличником их хаты на далёкой Черниговщине.

— Не зорь их, Иванко, — говорила ему мать. — Це добри птички-водянички. Когда птиця у хати селиться — к щастью...

Птички целыми днями бегали по соломенной, политой жидкой глиной кровле, перепархивали по тыну, в лёгком, танцующем полёте висели перед наличником, где попискивали птенцы. Счастья в бедной хате не прибавлялось, но глядеть на птичек было так радостно. Как же давно это было! Как во сне...

— Ну-ну, — забормотал боцман. — Ухожу, ухожу... Живи пока, а там видно будет.

...Два раза в неделю ход ремонта судов проверял главный инженер завода. Начальники цехов и мастера собирались в красном уголке корпусного цеха и докладывали, как идут дела.

— «Альтаир»! — называл суда главный инженер. — «Палтус»... А как на «Кунашире»?

Цехи работали на судах бок о бок и, случалось, мешали друг другу. Пытаясь определить виновных в задержке работ, главный гневался. Планёрки становились шумными и нервными. Быть виновным никому не хотелось. Ведь у каждого, кто невольно не выполнял график, были свои причины, представлявшие ему самыми серьёзными. Совещание затягивалось. Главный поглядывал на часы и дёргался: он не успевал проверить все суда, а в двенадцать часов начинался перерыв, и в красном уголке обедали, играя в шашки, рабочие-корпусники. Около двенадцати в уголок приходила кошка, привыкшая обедать вместе с рабочими. Она садилась против главного инженера и глядела ему в лицо. Он говорил больше и громче других.

Но главному было не до кошки. Тогда она начинала орать. Мастера переглядывались и посмеивались.

— Да уберите вы эту... — не выдерживал главный. Назвать кошку кошкой ему почему-то не хотелось, а другое слово сразу не придумывалось.

— Так ведь всё, Анатолий Фёдорович, — напоминали ему мягко, — обед. Маруська время знает...

— Ну хорошо, хорошо. Проверим коротко «Геркулеса». Как там обстройка?

— В корме работаем, через пару дней уйдём, а нос маляры ещё не дали, — поднялся мастер плотников.

— В чём дело, Шишов? Когда кончите работать в носу?

— Да мы ещё не начинали, — честно признался Стёпа. — Боцман там какой-то... заскорузлый...

— Какой?

— Заскорузлый, — повторил мастер под общий смех. — Ну, упрямый. Никак не пускает нас в свои кладовые.

— Это не причина. Есть капитан, решите с ним, — отрезал главный. И добавил, уже улыбаясь, собирая на столе бумаги: — Вы же ошкрябщики, вон какие суда ржавые оббиваете, а с «заскорузлым» боцманом не можете справиться... Всё, товарищи, освобождайте уголок! Надо дать людям передохнуть!

Шишов так и сделал. Он не стал разыскивать «боцмана с платочком» и побежал в капитанскую каюту. Потряхивая белокрысым чубчиком, капитан Звонцов гладил через холстинку брюки.

— Да как же так?! — стукнул утюгом капитан, осердясь на боцмана ещё и за то, что из-за него его застали за таким некапитанским занятием. — Он же мне обещал!

Капитан наскоро покончил с брюками и вызвал Беседочку.

— Боцман! — произнёс капитан вкрадчиво, даже нежно, что, конечно, не предвещало ничего хорошего. — Вы читали, что написано на плакате?

— Где? — невинно спросил боцман и обвёл взглядом каюту. В ней пахло чем-то палёным. Небольшое «загорание», как это называют пожарники, пожалуй, могло бы сейчас облегчить его положение.

— У трапа, вот где!

— У вас чем-то палёным пахнет! — повёл мясистым носом боцман, но тут же заметил на койке свежевыглаженные клёши и сразу догадался...

— Что вы мне зубы заговариваете! — вскипел капитан. — «Палёным»! Может, это вы подгорели со стыда, третий раз всех обманываете! Читали или нет?

— Читал... Грамотный.

— Ну, что там написано?

— Много там чего написано... А что вы кричите?! У меня за тридцать пять лет плавания знаете, сколько в ушах капитанского крику напрессовано?!

Закусив губу, капитан отвернулся к иллюминатору. Действительно, горячиться не стоило.

— А написано там, дорогой Иван Михайлович, — прежним зловеще-ласковым тоном продолжал капитан, — там написано, что маляры взяли обязательство досрочно сдать «Геркулеса». А вы — вот вы! — им мешаете. Да, да! И трюм свободен, и есть куда шмотки переташить...

Капитан прошёлся по каюте и задёрнул штору у койки с брюками.

— Непохоже это на вас, Иван Михайлович! — уже спокойно упрекнул Звонцов. — Может, что-то мешает? Какие-то есть причины?

— Та... что там мешает... Ничего не мешает, — поморщился боцман. Он действительно трижды обещал освободить кладовые, и ему было неловко перед капитаном. Но и говорить про гнездо не хотелось. Несерьёзно как-то... Подумаешь, какое дело — птюшечка!

Боцман пыхтел, переминался и не уходил, хотя капитан его уже не держал.

— Вообще-то, есть одна... причина, — выдавил наконец Беседочка. — Гнездо там у меня...

— У вас?!

— Ну... У меня в фонарной-малярной. Птичка поселилась. А у неё уже чикуют.

— Какие?

— Да такие... Ма-асенькие!

— Пойдёмте, покажете.

Птичек на месте не оказалось. Четыре полуголые шеи тянулись из гнезда.

— Промышлять полетели, — словно бы извинился за своё хозяйство боцман. — А поглядели бы, как сам-то, трясогуз, подкармливал её, когда она сидела, яички парила, — прямо как сиделка!

Они стояли у двери. Присмотревшись, капитан оглядывал фонарную-маляриую, отмечая отменный порядок, и думал, что зря накричал на Беседочку, такого боцмана поискать...

— Вот как тут пустишь ошкрябщиков? — развёл руками Беседочка. — Погибнут чикулята.

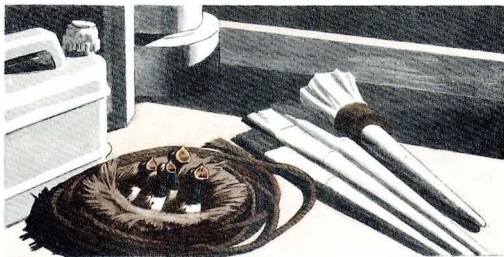
— Птенцы?

— Ну. У нас на селе их чикулятами звали.

— Так бы и сказали сразу, — вздохнул капитан. — А то темнили, темнили... Что делать-то будем, Михалыч!

— Я думаю, Евгений Викторович, если вы не будете возражать, взять на заводе краску и доски для стеллажей да сделать в рейсе самим, моей боцкомандой.

— Добро! — подумав, согласился капитан. — С этим решено, а дальше-то как? Нам ведь уходить скоро. В субботу, наверное, уже придёт «Антей». Не успеют подрасти твои чикулята. А с гнездом в море идти — тоже не годится.



...На «Геркулесе» уже шли испытания отремонтированных механизмов. Запустили свою, судовую, электростанцию. Работал на малых оборотах главный двигатель. «Геркулес» сверкал свежей краской. Только в носу, где размещались кладовые, борт был ржавый и облупившийся.

— Слушай, Стёпа! — миролюбиво сказал боцман мастеру после разговора с капитаном. — Ты на меня не обижайся. Тут, понимаешь, такое дело...

— Да знаю-я, Михалыч! — улыбулся Шишов. — Сказал бы прямо, я хоть знал бы... Как решим?

— Всё решено. Сам со своими ребятами сделаю. Давай мне краску, какую положено, ну и ещё там что-нибудь в качестве презента: кистей, флейчиков, того-сего... И сразу же актик тебе подпишем об окончании работ.

И обрадованный Шишов побежал на планёрку доложить главному инженеру, что с «Геркулесом» он рассчитался.

А через неделю пришёл «Антей» — точно такой же сухогруз, той же серии «силачей», построенный годом позже, — младший брат «Геркулеса». Командовал «Антеем» осетин Кадзаев, друг Звонцова по мореходке. После ухода «Геркулеса» «Антей» должен был встать на его место, и его пока поставили рядом.

Капитаны встретились на причале. Кадзаев после рейса был ещё в полной форме, а Звонцов в рабочей куртке, но, как всегда, в щегольской «капитанке».

— Здравствуй, Женя!

— Привет, Костя! Как плавал?

— Нормально! Когда уходишь?

— Думаю, денька через три. Сейчас идет ревизия двигателя, потом окраска машины начисто — и гуд-бай!

— А чего у тебя полубак не крашен?

— Боцман решил сам сделать, в рейсе... Чудит старик!

— У тебя Беседочка?

— Беседочка.

— Ну, этот сделает. Заходи!

— Спасибо. Загляну.

Боцман «Геркулеса» был озабочен. Близился отход в рейс. Как быть с трясогузками? То, что он договорился с капитаном, с мастером Шишовым, всё это шло насмарку... Выход «Геркулеса» ничто не могло задержать.

Чтобы люди понуству не шлялись в нос, боцман натянул от борта к борту шкертик. Он сидел сейчас на люке трюма и смотрел на птичек. То



одна, то другая, они через грибок вентиляции шныряли в кладовую. Из фонарной-малярной доносился радостный писк.

Птички привыкли к Беседочке. Стоя в дверях кладовки, он не раз наблюдал за кормёжкой. Птенцы росли не по дням, а по часам. Они уже начали покрываться мелкими серыми пёрышками, но всё ещё были так беспомощны...

«Как же быть? — думал Беседочка. — Что-то надо придумывать. Но что?»

Выход подсказало появление «Антея». У боцмана появилась надежда.

Только как отнесутся к этому сами трясогузки? Ну, и конечно, надо поговорить с боцманом «Антея».

Боцман там был новый — молодой, высоченный парень с кудрявыми бачками на длинных щеках, по фамилии Свекольников.

— Какой может быть разговор, старина? — тут же согласился Свекольников. — Сделаем, конечно! Готовьте, коллега, приданое!

Теперь Беседочка отправился к своему капитану.

— Пожалуй, ничего другого тут не придумаешь, — одобрил Звонцов план боцмана. — Я поговорю с Кадзаевым.

— Надо только нам с «Антеем» местами поменяться, — ещё раз напомнил боцман. — Всё равно ведь завтра уходить...

— Это я тоже беру на себя,— пообещал Звонцов.— Поговорю с капитаном заводского флота.

Совет молодых капитанов, в котором приняли участие оба боцмана, прошёл быстро и в духе полного взаимопонимания.

— Значит, завтра отваливаешь? — Кадзаев с помощью своего боцмана стал накрывать стол у себя в каюте.— Давайте хоть поужинаем вместе, когда теперь увидимся?

Поздно вечером заводские буксиры переставили сухогрузы. «Антей» встал на место «Геркулеса».

— Давайте приступать к операции,— пришёл к Беседочке молодой боцман.— К операции «Трясогузка»!

...Дежурный диспетчер завода видел из своей застеклённой будки, как по палубе «Геркулеса», слабо освещённой ночным светом, медленно двигалась процессия: впереди с фонарём длинный боцман с «Аптея», за ним, бережно держа что-то в вытянутых руках, Беседочка. Сзади шли друзья-капитаны. Они проследовали по причалу и поднялись на «Антей». Диспетчер заинтересовался и поспешил на судно.

Боцман Беседочка нёс в шерстяной шапочке гнездо вместе с птичкой, позволившей взять себя в темноте. Его лысая голова без шапки поблёскивала в свете фонаря, как круглый матовый плафон. Оба боцмана осторожно переступили высокий комингс-порог фонарной-маляриной и скрылись в её глубине.

— В чём дело, товарищи? — полюбопытствовал диспетчер.— Что-нибудь случилось?

— Порядок, диспетчер,— ответил за всех весёлый Свекольников, забирая кладовую.— Просто мы тут одну необычную операцию осуществили...

— Успешно? — опять полюбопытствовал диспетчер. По роду своей службы он должен был знать обо всём, что творилось на заводе.

— Гарантия! — улыбнулся Кадзаев.— Если только птах не прочтёт название судна!

Днём «Геркулес» уходил. Как всегда, ему помогали заводские буксирчики «Сerp» и «Молот», разворачивая громоздкий сухогруз носом к выходу из ремонтного ковша. Капитан Звонцов в парадной форме стоял на мостике и через мегафон отдавал команды. Огромный бронзовый винт «Геркулеса» медленно поворачивался, показывая кромки блестящих лопастей, и продвигал сухогруз самым малым ходом. Большое судно провожали люди, собравшиеся на палубах других судов, на набережной.

— Стёпа,— положил руку на плечо мастеру боцман Свекольников.

— Да знаю, знаю, — посмотрел снизу вверх Шишов. — Не буду я пока нос трогать. Тогда скажешь, когда можно...

Боцман Беседочка укладывал на палубе швартовные троса. Кончился ремонт, кончились волнения и суета. «Геркулес» прибавил обороты. Свежий ветер вошёл на палубу. Настроение у Беседочки было отличное. Он даже помурлыкивал что-то в вислые усы. Старый боцман чувствовал себя вернувшимся из приятных, но шумных и беспокойных гостей.

Теперь боцман был дома.

МУХА

Муха была из тех собак, которых принято называть дворняжками. Она не умела делать красивых стоек по дичи, которыми славятся охотничьи подружейные собаки, и не проходила науки караульной службы. Может быть, в её роду и были славные имена, но люди не знали их, потому что за родословной дворняжек никто не следит.

Муха была чёрной масти, невелика ростом и неказиста. У неё было крутобокое, широкогрудое туловище на толстых и кривых передних лапах с нависшими коленями, лобастая голова, выпуклые тёмные глаза и большие, стоящие торчком и чуть в сторону, уши.

Муха родилась в шумном морском порту. Ни дома, ни хозяина у неё не было. В людном порту Муху знали почти все, но одни не обращали на неё внимания, а другие относились не всегда одинаково: они то ласкали её и давали что-нибудь вкусное, то вдруг кричали и отгоняли её, чтоб не путалась под ногами.

Весь день в порту шумел и кричал народ, сигналили грузовики и автопогрузчики, ловко укладывавшие всевозможные тюки и ящики, громыхали якорными цепями швартующиеся к причалам большие корабли. Высоко над трюмами кораблей поворачивались неторопливые стрелы кранов, а внизу мимо складов шли с тяжёлыми чемоданами пассажиры. Иногда вместе с людьми приплывала, сходила с парохода собака. Её вели на поводке. Выхоленная, натосковавшаяся на пароходе по земле, собака натягивала поводок, тянулась понюхать с Мухой, но Муха не обращала на неё внимания.

К ночи порт затихал и приходил сторож Сафонов. Это были лучшие часы Мухи. Оттерев от сторожа его пса Уголька, она садилась подле Сафонова. Привалившись спиной к стене пакгауза, сторож курил и поглаживал заскорузлой ладонью Мухину голову. Мухе это было невыразимо приятно, но она не показывала вида и сидела, мечтательно глядя увлажнившимися глазами на бухту. От воды несло холодком, наплывал туман. Пахло обнажившимися в отлив водорослями. Где-то на пароходе гово-

рило радио, далеко разносилось по тихим сопкам и глади бухты.

— Эх вы, собаки, собаки! — говорил сторож, когда ему наскучивало сидеть молча. — Хотя и бессловесные вы создания, а всё же с вами веселее.

Сафонов тушил окурок и запахивался в просторный брезентовый плащ.

Тихо пронося в темноте мачтовые огни, пошумливая машиной, в бухту входили суда. Их встречал вёрткий, обвешанный старыми автопокрышками портовый катер-буксир, подводил к причалам и помогал швартоваться.

— Вишь, сухогруз подошёл... — замечал Сафонов. — А вон, видать, «рыбак» пошёл по рыбу... Тяжёлая у него работа, ни днём ни ночью нет отдыха, когда рыба ловится... Мы хоть тоже не спим, да на берегу. Только наша профессия, видать, отмирающая — не будет, должно, скоро сторожей: от кого сторожить-то! И отношение сейчас к сторожам такое, словно это и не работники...

И Сафонов вспоминал далёкое прошлое, когда он жил в селе под Тамбоном и караулил сады. Звёздными августовскими ночами надали, глухо тукались о землю яблоки, и в саду, в не остывшем ещё от дневного солнца шалаше стоял яблочный дух. В сопровождении широкоспинных, медлительных и злобных псов он обходил белевшие стволами деревья, прислушивался к звукам дальней гармонике, к частушкам девчат, а над головой у него чертили светлым, сгорая на лету, сорвавшиеся с тёплого небосвода звёзды.

— А собаки были разве такие, как вы, твяки? — вспоминал Сафонов. — Львы были, а не собаки!

Сторож трепал меж ушей Муху, и Уголёк тоже лез, ревнуя старика, юлил и искал ласку.

За полночь сторож задрёмывал. Засыпали и собаки, свернувшись тугими калачами. Муха зябко вздрагивала и видела во сне то, чего не имела наяву: собственную миску с тёплой похлёбкой и своего хозяина, похожего на Сафонова.

Но изменения, которые вскоре наступили в Мухиной жизни, не могли привидеться ей и во сне.

Однажды к причалу подошёл большой плавучий кран. Мотористы с крана отправились на склад получать оборудование. Они ходили между широких стеллажей с кладовщицей Зиной и неожиданно увидели Муху. Узнав от Зины, что Муха ничья, мотористы решили взять её к себе на кран.

Муха ни разу в жизни не посмела укусить человека, хотя люди иногда и причиняли ей обиды. Поэтому, когда моторист поймал её, она лишь



беззвучно оскалилась и ткнулась зубами в схватившую её руку, но тут же ужаснулась своего поступка и прижала уши.

— Глухая, — засмеялся моторист, — тебе же у нас лучше будет!

Муху никогда никто не брал на руки, и ей было очень неловко чувствовать себя так далеко от земли. Муха извивалась под рукой моториста, стремясь принять привычное положение.

Моторист с собакой на руках прошёл мимо знакомых пакгаузов и по узенькому трафику-сходне поднялся на кран. С бухты набегали волны, и кран плавно покачивался. Очутившись на палубе, Муха растерялась: широко расставив лапы, она боялась сдвинуться с места и старалась сообразить, почему пол под ногами качается и уходит вниз. Она сделала несколько шагов. — её мотнуло вбок, и она пошла не туда, куда хотела. Стараясь сохранить направление, Муха устремилась в противоположную сторону, но тут её качнуло назад, и ей пришлось побежать, увернувшись от столкновения с какими-то нщиками.

Матросы засмеялись:

— Походочка-то у неё морская!

Муха поняла, что смеются над ней, сконфузилась и села, тёмными умоляющими глазами глядя на окружавших её людей.

Так Муха начала свою новую жизнь на большом плавучем кране. Природным умом и сообразительностью, выработавшейся у неё жизнью в порту, она определила своё отношение к людям и место среди них. К одним она привязалась, к другим была равнодушна, третьих избегала, но со всеми старалась быть одинаковой: она понимала, что это необходимо, если ей пришлось жить среди многочисленной команды крана. Но только одного в команде она считала своим хозяином — кранмейстера Николая Николаевича. Он обращал на Муху внимания не больше других, но всегда был с ней ровен и ласков; о хозяйском его положении говорило и уважительное отношение к нему людей на судне, и Муха очень хорошо почувствовала это сразу после своего появления на судне.

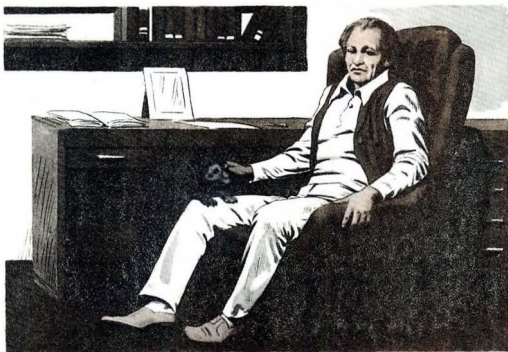
Вечерами, когда стихало в кубриках, Муха направлялась, стуча когтяшками лап по коридорному линолеуму, к каюте кранмейстера. В открытую дверь был виден Николай Николаевич: сидя за столом, он увлечённо писал. Затенённая чёрным колпаком лампа освещала бумагу, руки и кусок стола со стоявшей на нём фотографией женщины с детьми.

Потоптавшись в дверях, Муха заходила в каюту и ложилась на мягкой ковровой дорожке. Кранмейстер писал, не оборачиваясь, словно не замечал собаку.

Было тихо, лишь постукивали судовые часы, глухо шумел в машинном отделении дизель-генератор, освещавший кран, через толстую мягкую дорожку чувствовалось лёгкое содрогание от его работы. Муха лежала в напряжённом ожидании, смотрела на кранмейстера. Николай Николаевич распрямлялся, откидывался в кресле и смотрел куда-то задумчиво поверх письма, мимо лампы, мимо висевших на стене барометра и карты бухты. Муха поднимала голову, подбирала передние лапы, но он не звал её, и собака ждала, поплёскивая в сумраке влажными тёмными глазами. Наконец Николай Николаевич складывал авторучку — этот звук собака уже знала — и поворачивался к Мухе:

— Ну что, Муханский, пришла?

Пряча радость, она подходила, поднималась на задних лапах и клала Николаю Николаевичу на колени передние лапы и голову. Кранмейстер ласково трепал собаке шею и гладил между ушей. Задние лапы у Мухи уставали, но она старалась как можно дольше удержаться на коленях, заглядывала Николаю Николаевичу в лицо и вздыхала, всхрипнув.



— Что вздыхаешь? Скучаешь? Ах ты, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо! Ничего, придет Коляка, будет тебе веселье. Пойдешь жить на берег.

Из всей команды Муха не любила только строповщика Лобуса. Как все собаки, она долго не забывала причинённое ей зло и старалась избегать встреч с этим человеком.

Первую обиду Лобус нанёс Мухе вскоре после её появления на кране. Муха стояла на палубе и смотрела на вечернюю бухту. Было тихо, от идущих далеко стороной пароходов набегали на кран ленивые, казавшиеся шелковистыми волны. В них мигали, гасли и вновь зажигались отражения красных, зелёных, белых огней, блуждающий луч прожектора на берегу. Муха, прищурившись, смотрела в подёрнутую свинцово-серыми сумерками даль, раздувала ноздри, ловила запахи в лёгких дуновениях ветра — запахи земли и гнилых водорослей, смолы и краски, чего-то съестного на камбузе. Она не заметила, как сзади подошёл Лобус, подхватил собаку, бросил в стоящую на палубе шлюпку и завалил её брезен-

том. Очутившись в темноте под тяжёлым душным чехлом, Муха перепугалась, стала биться; пытаясь выбраться из-под навалившейся тяжести. Когда ей удалось наконец освободиться, она выпрыгнула из шлюпки, но не рассчитала высоты и ударилась с размаху о палубу носом. Муха взвизгнула и нустилась наутёк, чтобы не слышать громкого и злорадного смеха строповщика.

В другой раз он поймал Муху и посадил высоко на трап, ведущий в кабину крана. Кран покачивало на волне, и собака с трудом сохраняла равновесие на узенькой ступеньке. Муха качалась, тоскуя на высоте, а Лобус стоял под ней, смеялся, и ей страшно было близко видеть его недобрые глаза.

Выручил её тогда вышедший на палубу Николай Николаевич. Он отругал Лобуса и снял Муху, осторожно поставив на палубу. Пережив страх и не сумевши даже обрадоваться избавлению, она тихо поплелась прочь, мучаясь от подступившей к горлу тошноты.

Лобуса Муха невзлюбила и стала бояться. При встрече с ним Муха жалась к людям: она заметила, что при людях Лобус к ней не приста-
вал.

Но такие случаи были редкими. Команда хорошо относилась к Мухе и к коту Гошке, делившим с людьми все радости и тяготы судовой жизни, все штормы и пурги, которыми так щедра Камчатка. Никогда ещё у Мухи не было своего угла, своей подстилки и своей миски, в которой она трижды в день получала со всеми вместе еду. Муха поправилась, шерсть у неё стала лосниться, глаза повеселели. Собака тоже старалась услужить людям. Когда кто-нибудь из команды сходил на берег, она всегда сопровождала его и бежала впереди, задорно закинув на спину баранку хвоста.

В судоремонтных мастерских она шла вместе с хозяевами в цехи, семеня по проходу между тесно стоявших станков, поминутно оглядываясь и стараясь не показать вида, что ей страшно среди грохочущих машин.

На улице матросы шутливо науськивали Муху на встречную собаку или на кого-нибудь из своих знакомых, и она, ероша шерсть, разыгрывала нападение на «противника», потешно отталкиваясь всеми четырьмя лапами. После этого, переваливаясь на кривых лапах, очень довольная, она тут же возвращалась к своим. На кране Муха нашла серьёзное и полезное для всех дело. Заметив, как матросы ставили капканы-крысоловки, — за каждую пойманную крысу по принятому на кране порядку пойманному полагался внеочередной выходной день, — они вместе с Гошкой тоже приспособились ловить крыс, с которыми у Мухи были старые счёты со времени житья в портовых пакгаузах. Как только в по-

мещении появилась крыса, охоту за ней начинал Гошка, а Муха занимала пост около крысиной лазейки. Обычно крыса увёртывалась от Гошки и мчалась в убежище, но тут её встречала Муха. Гремя мебелью и посудой, она сбивала крысу и душила, стараясь избежать болезненных крысиных укусов.

Охота велась вдвоём, но крыса становилась трофеем только Мухи. Она брала её в зубы и тащила показать кому-нибудь из людей, беззлобно рыча на Гошку, если он пытался к ней приблизиться.

В один из штормовых дней кран был срочно вызван к судоремонтным мастерским. С бухты дул жестокий ветер, тяжёлые волны били в набережную, взрываясь каскадом белых брызг. Кран качало, в натянутых на стреле тросах гудело. Обычно в такую погоду работы не производятся, но на этот раз грозила авария: волны разбили набережную, и берег заливала вода. Нужно было переставить краном стоявший на берегу в ремонте катер.

Встревоженный Николай Николаевич, стараясь перекрыть ветер, отдавал приказания. Под порывами ветра кран наваливался на причал, в щепки мочалил деревянные прокладки-кранцы. Муха тоже вышла на палубу. Она видела, как строповщики торопливо заводи́ли под катер тросы, как раскачивался на стреле тяжёлый гак. Тревога людей передавалась и собаке, она бегала, суе́тилась на мокрой, уходившей из-под ног палубе.

Наконец, катер был подготовлен к подъёму, но случилось непредвиденное: на раскачивавшейся стреле крана с блока сошёл трос. Медлить было нельзя. Кранмейстер послал завести трос Лобуса, но тот отрицательно покачал головой.

— Кто же полезет? — сердито спросил Николай Николаевич. — Почему должен лезть кто-то, если это твоя работа?

— Кран должен работать при волнении не более трёх баллов, а при таком шторме пусть лезет кто хочет!

Тогда кранмейстер полез на стрелу сам. Собака с тоской смотрела, как Николай Николаевич, немолодой уже человек, карабкался наверх в паутине стальных конструкций стрелы, гудящих от штормового ветра, металась у трапа и пыталась лезть вслед. Но на помощь Николаю Николаевичу уже поднимались два матроса. Втроем они быстро устранили неполадки и спустились вниз, закоченевшие на ветру, с посиневшими, негнущимися руками.

Через несколько дней после этого случая Лобус собрал свой рундук и, не простившись, ушёл с крана. О нём не жалели.

Без Лобуса Муха почувствовала себя на кране свободнее.

И опять потянулись трудовые дни. Кран ходил по бухте и поспевал

всюду, где нужно было поднять или перенести тяжести: и в порту, и на строительстве нового причала, и в судоремонтных мастерских.

Погожим вечером боцман Гаврилыч занялся после работы рыбной ловлей. Рыба почти не клевала, лишь изредка попадались, на Гошкино счастье, головастые, с растопорщенными плавниками бычки. Гошка и Муха сидели рядом и наблюдали за ловлей: Муха — на палубе, а кот — на сложенных ящиках. С бухты бежал свежий бриз, в борт крана пошлёпывали волнишки. Слегка покачивало, и швартовый трос, поскрипывая, тёрся о ящики.

Вдруг верхние ящики поползли, рассыпались с грохотом, и Гошка не успел глазом моргнуть, как очутился за бортом. Он отчаянно забарахтался в воде и стал тонуть. Муха заметалась по палубе, растерянно и то-ненько заскулила, затужила и вдруг — будто подтолкнул её кто-то — прыгнула за борт.

Но недаром говорят, что один подвиг рождает другой: увидев Гошку в воде, Гаврилыч отбросил удочку и, скинув лишь бушлат, тоже прыгнул за борт. Схватив за шиворот кота, он выкинул его на палубу, а затем подал выбежавшим матросам и Муху.

Гаврилыч после холодного купания отправился в горячий душ, а Гошку обтёрли старым одеялом и уложили в тёплую сушилку рабочей одежды.

В этот вечер Муха и Гошка забыли об охоте на нрыс. Они лежали на



куче грязных спецовок, и Муха облизывала мокрого Гошку. Шерсть на нём слиплась, и ошейник из медной проволоки, надетый, как у всех корабельных кошек, для защиты от действия судового электричества, ранее почти незаметный, болтался на шее. Вечером Муха даже не пошла проведать Николая Николаевича. Но, прослышав о происшествии, он пришёл с Гаврилычем сам.

— Эх ты, горе-рыболов, Гошка, — потрепал кранмейстер вздрагивавшего всем телом кота, — как же тебя угоразило? А ты молодец, Муханец, тебя хоть к медали «За спасение утопающих» представляй! Герой!

В один из солнечных июньских дней Николай Николаевич приехал в порт на своём «Москвиче», отдал на кране необходимые распоряжения и покати́л на аэродром, захватив с собой Муху.

Никогда в жизни ей не приходилось мчаться с такой скоростью. Она тянулась в приоткрытое окно, за которым стремительно неслись дома, машины и люди, и ветер сушил ей нос, кидал мимолётом дорожные запахи.

На аэродроме было просторно и чисто. На недавно политом бетоне высыхали лужицы воды. Николай Николаевич оставил Муху в машине и присоединился к ожидавшим. Они прогуливались в нетерпении подле здания аэровокзала, рассматривали небольшие, тихо стоявшие с чехлами на моторах самолёты местного сообщения. Наконец металлический голос



объявил о посадке самолёта. Над Мухой с оглушительным шумом пронеслась серебристая машина, промчалась по бетонной дорожке и подрулила к вокзалу. Муха из кабины «Москвича» видела, как Николай Николаевич подбежал к самолёту, несмотря на запрещения контролёра, подхватил с высокого трапа жену, обнял и расцеловал детей: тоненькую высокую девочку лет десяти и коренастого темноволосого мальчика-дошкольника. На обратном пути жена Николая Николаевича сидела с ним рядом, а Муха с детьми — сзади. Николай Николаевич ехал небыстро и рассказывал о камчатской земле, о высоких, заросших лесом сопках и белых пирамидах вулканов, с которых не сошёл ещё снег. Его перебивали возбуждённые голоса детей: «Москвич» звенел радостными возгласами и был наполнен счастьем встречи. Коляка вскакивал, смотрел в окно, обнимал за шею отца и угощал его и Муху московскими сладостями.

Мухе передалось это радостное, весёлое возбуждение детей. Она топталась на заднем сиденье, ела из перепачканных шоколадом рук печенье и тоже была необыкновенно, небывало рада.

В городе машина остановилась у подъезда недавно выстроенного дома. Нежилые новые комнаты пахли краской и цементом.

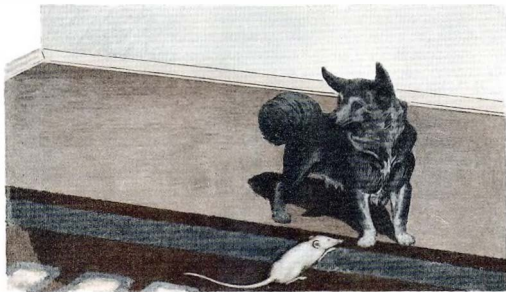
Муха ходила по комнатам и обнюхивала свежеевыкрашенные плитку



сы, а Коляка бегал и вскрикивал, забавляясь звонким, дробным эхом.

— Вот тебе собака,— сказал ему Николай Николаевич.— Ухаживай, корми и заботься о ней. Опа жила в порту, ночуя где придётся, жила у нас на плавкране и заслужила в свои годы более спокойное житьё. Видишь, какая она маленькая? Ты не должен давать её в обиду.

И Муха осталась жить в семье кранмейстера. Елена Викторовна — так звали жену Николая Николаевича — и Верочка не обижали Муху, но и не обращали на неё почти никакого внимания. Всё время проводила она с Колякой, терпеливо снося его неугомонные ласки и выдумки. Снисходя к маленькому Коляке, она не протестовала, когда мальчик запригал её в игрушечные автомобили, и сопровождала его во время катания на велосипеде. Вечером, когда её хозяин ложился спать, она сидела на кухне и смотрела грустными глазами через открытую дверь в освещённую комнату на Верочку и Елену Викторовну. Муху обижало, что ей запрещалось входить туда, и она вспоминала кран, где пользовалась полной свободой. Здесь ей жилось спокойнее, чем на кране, у неё было отдельное место в углу и сытная еда, она была больше предоставлена себе, но Мухе как раа пе хватало внимания людей, грубоватых ласк матросов. Сидя на кухне, она скучала о кране, о Николае Николаевиче, которого видела теперь гораздо реже, о Гошке.



В домашней обстановке Муха прожила недолго.

Как-то раз, когда Коляка лёг спать и в доме притихло, собака услышала в прихожей шорох. Она поднялась, подошла как можно тише к порогу, осторожно переступая кривыми, узловатыми лапами, и послушала, повернув голову набок: где шуршит? В стоявшей на полу сумке с газетами и журналами шелестела бумага. Муха подошла, сунула в сумку голову, и оттуда выскочила, кинулась к щели у плинтуса крыса. Загремев обувью, Муха опередила её. Тогда крыса метнулась к батарее отопления, прыгнула на неё. Сорвалась, ещё раз прыгнула, и тут её настигла Муха. Укушенная крысой, но очень довольная, Муха взяла добычу в зубы и понесла показать свой трофей Елене Викторовне. Она положила крысу на ковёр и посмотрела на хозяйку. Наконец-то она может услужить новым хозяевам! Муха помахивала хвостом, в глазах её отражался свет лампы, они счастливо лучились. Но когда Елена Викторовна рассмотрела Мухин трофей, она вскрикнула, вскочила со стула и начала кричать на Муху:

— Пошла! Пошла вон! Тащишь всякую мерзость в комнату!

Она схватила вееник, вышвырнула крысу в коридор и вееником же шлёпнула собаку.

Это не было больно, но очень обидно. Муха сидела на лестничной клетке и не понимала, за что хозяйка выгнала её, почему ей не понравилась крыса: раньше за это Муху всегда хвалили...

Где-то приглушённо слышалась музыка. Этажом ниже стукнула дверь — кто-то спустился по лестнице и вышел на улицу. Мухе показалось, что за дверью послышались шаги. Она подошла и прислушалась: нет, дома тихо. Тогда Муха, переваливаясь длинным туловищем на ступеньках лестницы, направилась на крыльцо. С улицы доносились шум автомобилей, говор и смех людей. Даже поздним вечером работал, жил неутомимой жизнью порт — оттуда слышался ляг цепей и грохот лебёдок, голосок трудившегося портового буксира. Мухе вспомнились кран, весёлые матросы, Николай Николаевич и добрая повариха, всегда готовая угостить чем-нибудь вкусным, вспомнился приятель Гошка. Муха тихонько заскулила. Она спустилась с крыльца и вышла за угол. Со склона сопки далеко виднелась бухта, разноцветные огни судов. Набежавший ветерок дохнул солоноватым холодком. Собака стояла, щурилась и раздувала ноздри, приюхиваясь к струйкам воздуха. Потом она снова вернулась на крыльцо. Через открытую дверь подъезда видна была тускло освещённая лестница, вытекал запах убежавшего в чьей-то квартире пригоревшего молока.

Муха постояла, тоскуя и носкуливая. На лестнице было тихо.

И тогда она решила: побежала вниз на улицу и, остерегаясь машин, направилась в порт. Меж тёмных пакгаузов она разыскала место, где

обычно сидел сторож, но ни его, ни Уголька там не было. Не было в порту и крана. Муха постояла на пустом причале, под которым плескалась чёрная вода, и напрямую — через горы угля и щебня, через песок и раскатившиеся брёвни — побежала к мастерским. Она добралась до них, когда начал брезжить рассвет. Смутно темневшую громадину стрелы, горящую на её верхушке лампочку она увидела и узнала издалека. Муха взбежала по знакомому трапу на палубу, радостно обнюхала знакомые предметы.

— Муха? Ты откуда это взялась? — удивился вахтенный матрос. — Ах ты, псина, не забыла своих? — Он приласкал собаку и открыл ей дверь в тёплый, мягко освещённый ночным дежурным светом коридор. — Ну иди, иди, друг-то твой Гошка стосковался, поди...

До сих пор Муха живёт на плавучем кране. Развлекая в часы досуга матросов, она скрашивает их нелёгкую судовую службу на далёкой Камчатке.

Летними вечерами далеко разносится над тихой водой бухты её звонкий, беззлобный лай.

ШИПОВНИК С КАМЧАТКИ

Что везут люди с Камчатки?

Оленьи рога, аккуратно забинтованные, чтобы не ушибить кого-нибудь в толкучке.

Сушёных крабов, распяленных на лакированных фанерках.

Ветки кораллов, понавшие в рыбацкие донные тралы.

Один даже вёз целиком большущую рыбину — чавычу, держа её, как чемодан, в багажных ремнях с деревянной ручкой.

Все эти люди в аэропорту ждали самолёта, чтобы улететь в Москву.

А что я везу с собой? Почему я об этом не позаботился? Мне было немножко завидно глядеть на вещи, которые скоро окажутся диковинными там, на Большой земле.

Стоял июнь, и пышно цвёл дикий шиповник. Из-за его буйных зарослей, унизанных розовыми и красными цветами, выглядывали далёкие голубоватые вулканы с белыми вершинами.

«Надо увезти память, — думал я, прогуливаясь вдоль дороги к аэропорту. — Мне уж не успеть увезти что-нибудь другое... Надо получше запомнить саму Камчатку, сам этот воздух, прохладный, свежий и влажный, в котором чувствуются запахи океана и снега вулканов, такого чистого, что дырка от палки синевато светится в нём изнутри...»

Прилетел самолёт, весь в заоблачной росе, красивый, тревожащий

неземным своим видом и тем, что с ним должна соединиться моя земная судьба.

Мысли мне в голову лезли какие-то беспокойные и необычные, как в день рождения. Может быть, потому, что опять рождалась моя новая жизнь — на материке...

Нет, всё-таки надо что-то привезти с Камчатки! Хотя бы камешек с дороги — ведь через несколько часов он станет не просто камешком, а камешком с камчатской дороги!

Я забрался в цепкие заросли шиповника и срезал несколько колючих цветущих веток. Пусть полюбуются те, кто считает Камчатку диким безрадостным краем.

Летели мы вместе с солнцем. Здесь, выше пухлых белых облаков, оно светило беспрепятственно. Солнце всё время заглядывало в левый иллюминатор, и в его лучах букет светился радостно и празднично.

В Москве мы оказались в тот же день и почти в тот же час. А на Камчатке была уже глубокая ночь...

Наверное, люди дивились и толстой рыбине, покоившейся в багажных ремнях, и лакированным крабам, вцепившимся в свои фанерки, но мне казалось, что больше всего они смотрят на мой камчатский букет.



ДИАНОВА ГОРА





ДОМ

Прошлую осень я провёл на Диановой горе. В опустевшую деревеньку меня привёз на мотоцикле мой приятель Володя.

— Вот оно, родовое подворье! — торжественно объявил Володя и лихо развернулся перед старым двухэтажным домом. — Дед в нём жил, мать жила да и мне досталось. Дед сам рубил. Все дома тут своими руками ставлены.

От долгих лет и непогод дом был морщинист и тёмный. Маленькие, кое-где подзаштопанные фанерой оконца первого этажа тускло отражали наши ноги и сверкавший никелем мотоцикл. А в больших глазастых окнах наверху радостно светилось осеннее белое небо.

— Жили внизу, а наверху была школа, — пояснил Володя. — Так этот дом был задуман. Дед грамоты не разумел, но учёных сильно уважал. Четыре класса вместе занимались. И учительница была одна. В одном углу читают по складам «мама мыла раму», а в другом трудятся над задачкой про две трубы, через которые вливается-ныливается.

Деревня Дианова гора мне понравилась. На весёлом месте она стояла. Светло было на горе от близкого неба. Радовались простору глаза.

— Вот и живи, — хлопнул меня по плечу Володя. — Тут самое высокое место во всём Заонежье. Печь в порядке, дров навалом — чего тебе ещё надо?

И я остался на Диановой горе.

ДИАН И КСАНТИПА

Закурился дым над моей трубой. Очнулась деревенька, запахло в ней жилым. Днём я бродил по осеннему лесу, а по вечерам топил печку, глядел на огонь и думал, почему так странно пазвали гору и деревеньку на ней — Дианова гора.

На другой же день после моего новоселья я почувствовал, что в доме есть кто-то ещё. Какое-то живое существо. Мне слышались шорохи. Чьи-то шаги. Может, чудилось?

Я взял фонарик и вышел в сени. Громадный крытый двордохнул на меня чёрной неподвижной пустотой. Жёлтое пятно фонаря скользило по стене и высвечивало старые верёвки на гвозде, худые корзинки, трещины и сучки брёвен, похожие на рыбы морды.

Стоп! В круге света стояла голенастая курица. Её удивлённый круглый глаз горел красным рубином. Курица освоилась под фонарём и тихо, как привидение, пошла вдоль стены, высоко выкидывая ногу, «печатая» шаг длиннопалой растопыренной лапой. Так маршировали на плацу солдаты при императоре Павле, обожавшем муштру.



Курица задумчиво промаршировала до угла, развернулась и направилась назад. Пятно света двигалось за ней, будто за тенором на сцене, который прогуливается, перед тем как спеть своё знаменитое «куда, куда вы удалились...».

— Типа, типа, типа, — поманил я.

Мне в ответ раздалось мяуканье. Курица?! Что за чудеса!

Вспыхнули и померкли два круглых глаза. По балке шёл кот — такой же серый и пыльный, как толстая балка.

— Кс, кс, кс... типа, типа, типа, — звал я. — Кс, кс, кс, типа, типа, типа...

Сложилось когда-то слышанное слово — Ксантипа. Это было имя для курицы.

А кота я назвал Дианом. Он был холодный и очень лёгкий. Видно, с мышами дело обстояло неважно. Кот тёрся боками о мой сапог. Соскучился.

Володя рассказывал, что последние жители съехали с Диановой горы два месяца назад. Ах бедолаги Диан и Ксантипа, как же вы отстали от хозяев, одни оказались в пустой деревеньке! А что ждало бы вас зимой?

У Диана на передней лапе я обнаружил сквозную ранку. То ли прокус, то ли прошла навывлет дробинка. А может, проколол на гвозде, когда кинулся за мышью.

Я залил ранку йодом. Кот затряс лапой, хотеллизать боль, но резкий запах йодашибанул ему в нос, заставил зажмуриться. Он мяукал негромко, косился на меня и думал, наверное: «Сидеть бы мне лучше на своей пыльной балке, чем связываться с таким лекарем».

Курице я покрошил хлеба. И тут я вспомнил, что Ксантипой звали жену древнегреческого знаменитого мудреца Сократа, женщину глупую и вздорную. Но хромая курица не знала этого и не возражала быть Ксантипой.

ТРОПИНКИ

Люди из деревни уехали, а набитые в лесу тропинки остались. И каждая из них имела свой смысл — то дело, для которого она была предложена.

Я люблю ходить по глухим заброшенным тропинкам. Каждый день я брал возле деревни новую тропинку и шёл по ней в глубь леса. Куда она приведёт? Для какой нужды проторил её безвестный человек?

Идёшь-идёшь и вдруг окажешься в такой же, как Дианова гора, маленькой и безлюдной деревеньке. Или приведёт тропка к замшелому срубупод ключом, рядом с которым припасена для прохожего человека

пол-литровая стеклянная банка. А то выйдешь на берег озера, где стоят у сосны длинные сухие удилища. И можешь быть уверенным, что рыба тут берёт, иначе не стал бы рыбак ходить на одно и то же место.

Всегда кажется, что в глухомани грибы стоят гуще и дичи больше держится. Но на тропинке не меньше увидишь, чем в глуши. Травянистые дорожки и тропы любит гриб. Особенно белый. Тут ему теплее, больше солнышка. Дикие куры-тетерева вылетают на дорожки и тропы поклевывать мелкие камешки. Пролетит над дорогой, как по лесному коридору, тяжёлый глухарь. И ходят по ним большие и малые звери. И наверное, считают их своими. А может, так и было: первым прошёл зверь, а потом уж по его следу прошёл человек. Так и ходили по одним и тем же тропинкам много лет, не задевая друг дружку. Потому что тропинки выбирают себе самые удобные для ходьбы места.

А одна из тропок утянула меня на скалу. С камня на камень, на самую верхотуру. Ничего, конечно, там не растёт, ни грибы, ни ягоды. Камень. Да сухой ломкий мох. И обсиженное на мху местечко. Я сел, чтобы перевести дух, и загляделся — так красивы были внизу разукрашенные по осени леса. Значит, и это нужно было человеку из деревни Дианова гора: забраться повыше и полюбоваться открывшейся округой.

ОЗОРНИК

За бревенчатой стеной дома послышались шаги. Белые длинные ноги проплыли за окном. Кот Диан на подоконнике выгнул спину и зашипел. В безлюдную деревеньку пришёл лось.

Лось понюхал висевшую на ограде тряпку и остановился против рам, стоявших у крыльца. Эти зимние рамы Володя снял со второго этажа, чтобы потом забрать на машине для своего нового дома в посёлке. Из застеклённых рам на лося глянул лесной могучий зверь. У него были такие же широкие рога-лопаты, горбатый нос и висевшая мочалкой борода. Лось отступил. Зверь в раме отступил тоже. Тогда лось фыркнул, набычился и ударил зверя рогом. Посыпалось битое стекло. Я, как был в носках, выбежал на крыльцо. Но перепуганный лось уже махал к лесу. Тот, что смотрел из рамы, сидел теперь на его рогах. Лось метался из стороны в сторону и крутил головой, стараясь избавиться от рамы. Наконец, он сбросил её на ёлку и исчез в лесу.

— Знаю я этого шкодника, — сказал Володя, когда приехал за рамами. — Лет семь назад тут жили ленинградские лесозаготовители и подобрали лосёнка. А потом он ушёл. Но к людям пет-пет навевывается. Однажды мотоцикл «Урал» с коляской перевернул, пока хозяин волнухи



домал. А как-то верёвку с бельём унёс на рогах. По всему лесу рубахи собирали. Тут же, надо спасибо сказать, хоть рама цела осталась. А стёкла что, стёкла я вставлю.

ХИМИК

Странный человек вышел из лесу. Вся его одежда — брюки, телогрейка и шапка — была вывернута наизнанку. Лохматые швы, карманы и разноцветные заплатки торчали во все стороны. Даже голенища кирзовых сапог с болтавшимися ушками были завернуты до предела, болтались на щиколотках. Человек был небрит и измазан сажей.

— Заблудился? — спросил я.

— Шишкач заморочил, — пожаловался человек.

— Какой «шишкач»?

— Да такой. Обыкновенный. Маленький, зелёнеицкий. Будто мохом пророс. С ёлки на ёлку, с ёлки на ёлку и за мной, шишками подгоняет. Два раза по спине врзал. А сам-то — всего ничего — чуть побольше шишки.

— Видел?

— Здесь-то, в тенле, могут баннушки развестись, вот что,— строго сказал Химик.— В мокрых вениках, бывает, появляются.

— Баннушки? А это что за «звери»?

— Баннушки они и есть баннушки.— Вроде как чертенята такие... Вроде мочалки с рожками-ножками. Тоже озорники хорошие.

— Ты их тоже видел?

— Не,— признался Химик.— Этих не видел. Люди видели...

Мы «подхимичили» топку и подложили в каменку лепёхи плитняка, отслоившиеся от скалы. Весело взялись сухие дрова. В бане закачались дымные одеяла. Сталкиваясь головами, мы с Химиком ползали под зыбким пологом дыма и домазывали печку глиной при свете тусклого фонаря «летучая мышь».

Хорошан получилась банька! Я шагнул в её раскалённое нутро, и сухой жар перехватил мне дыхание. Как от озноба мы покрылись гусиной кожей. Химик ухал и кричал.

Сбрызнутая водой, каменка взрывалась и выдыхала новые клубы зноя. Плоские камни лопались и стреляли горнчими осколками.

— Вот они, проделки ихние! — шайкой укрывался от осколков Химик.— Фулиганьё! А ты говоришь...

Мы ожесточённо хлестались вениками. В бане запахло майской берёзой. Пламя в «летучей мыши» подпрыгивало и вдруг стало гаснуть.

— Солярка кончилась,— предположил я.

— Солярки тут навалом,— поболтал грязный фонарь Химик и оглядел углы.— Опнть, небось, эти банные фулиганы...

— Да брось ты! — рассердился я на Химика.— Значит, воздуху нашей «мыши» не хватает. Весь воздух мы с тобой выпарили!

— Тогда давай одеваться,— сказал Химик.— В темноте я не согласный...

Весь вечер мы тинули чай с брусничным листом. Химик, красный как рак, утирал лицо латаной рубахой и мурлыкал какую-то странную песню про далёкую планету. Кот Диан урчал у меня на коленях, «вышивал» когтями по брезенту. Отсветы огня из открытой печи бродили по морщинистым бревенчатым стенам. Было тепло и уютно. Тихонько подывал в печной трубе ветер.

— Ишь выступает! — покосился на потолок Химик.

— Кто?

— Да вон... дед Дымовик. В трубах живёт. Нам с тобой дым — дышать печем, а ему — первое удовольствие. Как затопят печь, его обдаст дымом, он и начинает.

— Что же он, вроде Шишкача?

— Здесь-то, в тепле, могут баннушки развестись, вот что, — строго сказал Химик. — В мокрых венниках, бывает, появляются.

— Баянушки? А это что за «звери»?

— Баннушки они и есть баянушки. — Вроде как чертенята такие... Вроде мочалки с рожками-ножками. Тоже озорники хорошие.

— Ты их тоже видел?

— Не, — признался Химик. — Этих не видел. Люди видели...

Мы «подхихичили» тонку и подложили в каменку лепёхи плитняка, отслоившиеся от скалы. Весело взялись сухие дрова. В бане закачались дымные одеяла. Сталкиваясь головами, мы с Химиком ползали под зыбким пологом дыма и домазывали печку глиной при свете тусклого фонаря «летучая мышь».

Хорошая получилась банька! Я шагнул в её раскалённое нутро, и сухой жар перехватил мне дыхание. Как от озноба мы покрылись гусиной кожей. Химик ухал и крикал.

Сбрызнутая водой, каменка взрывалась и выдыхала новые клубы зноя. Плоские камни лопались и стреляли горячими осколками.

— Вот они, проделки ихние! — шайкой укрывался от осколков Химик. — Фулиганьё! А ты говоришь...

Мы ожесточённо хлестались вениками. В бане запахло майской берёзой. Пламя в «летучей мыши» подпрыгивало и вдруг стало гаснуть.

— Солярка кончилась, — предположил я.

— Солярки тут навалом, — поболтал грязный фонарь Химик и оглядел углы. — Опять, небось, эти банные фулиганы...

— Да брось ты! — рассердился я на Химика. — Значит, воздуху нашей «мыши» не хватает. Весь воздух мы с тобой выпарили!

— Тогда давай одеваться, — сказал Химик. — В темноте я не согласный...

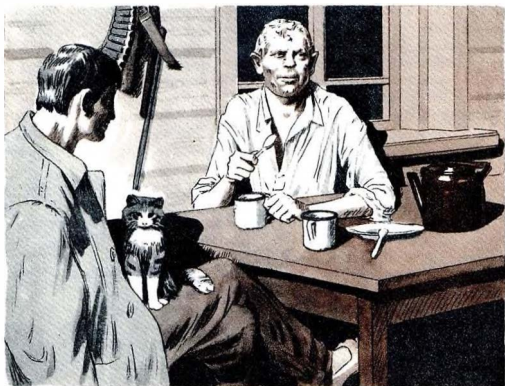
Весь вечер мы тянули чай с брусничным листом. Химик, красный как рак, утирал лицо латаной рубахой и мурлыкал какую-то странную песню про далёкую планету. Кот Диан урчал у меня на коленях, «вышивал» когтями по брезенту. Отсветы огня из открытой печи бродили по морщинистым бревенчатым стенам. Было тепло и уютно. Тихонько подывал в печной трубе ветер.

— Ишь, выступает! — покосился на потолок Химик.

— Кто?

— Да вон... дед Дымовик. В трубах живёт. Нам с тобой дым — дышать нечем, а ему — первое удовольствие. Как затопят печь, его обдаст дымом, он и начинает.

— Что же он, вроде Шишкача?



— Нет,— серьёзно продолжал Химик.— Не похож. Этот совсем маленький. Мохнатенький. Дымок из него сочится, как из курной баньки. Шмеля видел? Этот чуть поболье. А вместо глаз — две искорки.

— Смешной ты, Химик! Как шаман из тайги!

— Конечно из тайги, откуда же. А ты не смейся, не смейся. Ты идёшь по тайге — тихо, думаешь, пусто... А за тобой тыщи глаз смотрят. И звери, и всякие птюшечки-зверюшечки, и разная чудаковина. Поживёшь с моё в тайге, заведёшь себе и Шишкача, и бабу Темнотницу-полуночницу, и девок-Зоревниц, что под утро блáзнятся¹... Всё вроде бы с ними повеселее...

Мы легли спать, но почему-то не спалось. После бани и горячего чая мы медленно остывали в темноте, как вынутые из печи караваи. За чёрным окном ночь. Густая тишина заложила уши, будто ватой. Неужели на этой земле где-то есть ярко освещённые улицы, мчатся поезда?

— Пойдём со мной,— уговаривал меня Химик.— Вместе будем живи-

¹ Блáзнятся — мерещится.

цу гнать, а по вечерам песни петь. Весело заживём! А то я всё один да один... Платят нам прилично, заработаем...

Когда на другой день я пришёл с охоты, Химики не было. Ушёл в свою подсочную избушку.

Никто не пел больше в моей трубе, не стреляли осколками камни в бане. Ни разу не пульнули мне на тропе шишкой в спину. Видно, все, кого выдумал в своём одиночестве Химик, ушли вместе с ним. И Шиш-кач, и баннушки, и дед Дымовик.

Хороший всё-таки человек Химик. Только немножко странный. А может, тем и хороший, что странный.

НОЧНОЙ ПЕРЕПОЛОХ

Меня разбудили шум и возня во дворе. Всегда молчаливая, взволнованно кокала Ксантипа. Шипел и гневно кашлял Диан. Что-то упало. Что-то звякнуло. Захлопали крылья. Кто-то мягко прыгнул, шмякнулся о дверь, пробежал по сухому сну. Похоже, за стеной шла какая-то по-тасовка.

Я схватил фонарик и выскочил во двор. Мне в ноги метнулся кот. Он был взъерошен, как ламповый ёрш, и ужасно возбуждён. Диан выгибался калачом, ходил на цыпочках и устрашающе плевался в темноту. Моё появление во дворе укрепило его воинственный дух.

Курицы на месте не было. Я отыскал её фонариком высоко на балке. Луч фонаря будто столкнул Ксантипу. Бестолково размахивая крыльями, она с воплями слетела вниз, как выброшенная из окна тетрадка. Из разорванного куриного гребня текла кровь и бисеринками скатывалась по белой шее. Кто-то пришёл из ночного леса, чтобы убить Ксантипу и полакомиться курятиной. Но кажется, этому помешал кот Диан. Он вступился за подругу по несчастью. И наверное, враг оказался силён и страшен — очень уж кот был взвинчен дракой и никак не мог успокоиться. Я нагнулся, чтобы погладить его, но кот испугался, вздрогнул и снова выгнулся дужкой амбарного замка.

Кто же всё-таки напал на Ксантипу?

Двор был пуст.

Я вышел на улицу и осветил с крыльца. Фонарик вырвал из темноты полоску свалевшейся жухлой травы, кусок загоры и ближнюю берёзу. Дальше луч увязал в ночи, рассеивался без остатка в пустом бесконечном воздухе, окружавшем гору.

Неразгаданной осталась в ту ночь тайна покушения на Ксантипу.

ВЫШКА В ЛЕСУ

На Диановой горе стоит огромная деревянная вышка. Любопытно мне стало — далеко ли с неё видно? Я оставил внизу возле толстой бревенчатой ноги ружьё и рюкзак, полез по узенькой лестнице. Меня окружали брёвна, сбитые здоровенными скобами. Сначала они казались мне вполне прочными. Но чем выше я забирался, тем больше замечал, как повывезли скобы из потрескавшихся балок, как болтается и скрипит под ногой лестница, и вышка становилась не такой уж надёжной... Чтобы не кружилась голова, я вниз не смотрел, а просто лез да лез, пока перед глазами были ступеньки.

Сквозь вышку свободно протекал поднебесный ветер. Он был совсем другим, чем на земле. Поднебесный ветер не метался из стороны в сторону и пахнул не грибами, а студёной ключевой водой. Вышка чуть покачивалась, вздрагивала и тихонько постанывала. Вдруг завалится? Высоко лететь с вышки, которая загремит с горы!

Наконец ступеньки кончились, появилась дощатая щелястая площадка. Только теперь я решился взглянуть на открывшуюся мне картину. Холодок радостного страха сжал моё сердце — так широко лежало вокруг Заонежье, так далеко внизу была земля. Ружьё — не больше, чем авторучка, банька — как спичечный коробок. Ворона пролетела подо мной, распластав растрёпанные крылья.

То, что видно было сверху, напоминало, пожалуй, не картину, а громадную палитру, на которую художник, готовясь писать, выдавил краски. Тёмно-синий кобальт — это Онего. Разводы охры — сухие болота. Широкие пятна густо-зелёного крона — это еловые и сосновые леса. Жёлтые мазки — березняки, багряные — осины. А ярко-красные — это, наверное, рябинки. Поседевшие от ночного морозца дорожки и тропки протянулись по лесу нитями паутины. Ясным стеклом блестел молодой лёд лесных озёр. Только лазури — небесной голубизны — пожелел художник. Серый цвет преобладал в северном осеннем небе. Белила с сажей.

На перилах площадки я обнаружил странную надпись: «Ты не прав, Мухин». Интересно, что это за Мухин? В чём он не прав? И почему человек, забравшись на такую высоту, вдруг вспомнил о своей обиде и не поленился вырезать непонятные слова?

В лесу на белых дорожках крутилась лисьими хвостами рыжая метель — это низовый ветер гонял палые листья. Как зенитки, смотрели в небо чёрные трубы деревенских крыш. Над моей трубой дрожал, струился тёплый воздух: в протопившейся горячей печи упревала заячья похлёбка. Через трубу я как бы спустился взглядом к себе в дом, увидел Диана на лавке и Ксантипу в отгороженном углу, листки бумаги на сто-

ле, представил себя — как сбрасываю у печи дрова, щепая лучину... Хорошо всё-таки, что я приехал на Дианову гору!

Я чувствовал себя летящим в потоке свежего ровного ветра. Он протекал через меня так же свободно, как сквозь ажурную вышку.

«Ты не прав, Мухин»... Ну, а я? Всегда ли я бываю прав?

С одной стороны, получалось, что всегда. Ведь когда знаешь, что не прав, хочешь тут же исправиться. Но это когда знаешь! А если не знаешь? Значит, выходило, с другой стороны, что можешь оказаться не прав и даже не знать об этом. Но тогда, может быть, поправят друзья, им со стороны виднее? А если друг окажется не прав, когда будет говорить, что я не прав?

Тут я совсем запутался и снова стал смотреть, как ветер гнал по дороге в посёлок вороха сухих листьев. Столб крутившейся листвы налетел на что-то, рассыпался, и я увидел знакомый мотоцикл. Это ехал Володя. А рядом с ним в коляске сидел кто-то небольшой, чёрный и узкоплечий.

Я заторопился вниз. Ступеньки уже не казались мне шатучими и ненадёжными, я успел привыкнуть к вышке и к высоте.

— Хлебца тебе привёз, — протянул Володя горячую телогрейку с заёрнутыми в неё буханками. — Прямо из пекарни, с лопаты! А ещё — вот, товарища Малю!

Володя отстегнул карабинчик, из коляски выпрыгнула его лайка по имени Мальчик.

— А то что ж тебе в лесу без собаки — как без глаз, без ушей!

И мы зажили на горе вчетвером.

КУНИЦА

Осеннее Онего непокойно. Тяжёлые волны выкатываются с озера и разбиваются о береговые камни. Обледеневшие от брызг кусты позванивают на ветру, как висюльки на хрустальной люстре.

Этот звон привлёк куницу. Ночью она вышла на берег и понюхала ветер. Он нёс запахи взбаламученной воды и солярки. Застигнутый непогодой, далеко в Онеге пыхтел движком катер. Огонёк на его мачте то появлялся, то снова проваливался между волн. Мокрые камни, хлопья жёлтой пены, выброшенные обломки досок и тростника... Пожиться на берегу было нечем. Куница соскользнула с валуна в черничник, перебралась по упавшей осине через ручей и направилась в лес. Сильная и ловкая, куница короткими прыжками шла по каменистым гривам-сельгам, взбиралась на деревья, неслышно протекала тёмной меховой струйкой по сукам сосен и опять спускалась на землю. Множество запахов

окружало куницу в ночном лесу. Но ей нужен был только один — запах близкой добычи: спящей в кустах птицы, белка, зазевавшегося зайчонка-листопадника...

Кунице не везло. Одна белка успела юркнуть в дупло, слишком узкое для хищницы: Куница попыталась разгрызть лаз, но дерево оказалось толстым и прочным, и ей пришлось отступить. Другая белка пустилась наутёк по молодому сосняку, ветки которого не выдерживали тяжесть куницы. Куница несколько раз оборвалась, отстала и прекратила погоню. Рябчик, за которым она кинулась, успел слететь, задев её крылом, и в куньем носу надолго остался дразнящий запах тёплых рябчиных перьев...

Под утро куница пришла на Дианову гору. Здесь в пустом сарае была лёгкая добыча — белая нескладная курица, почти не умевшая летать. Она уже дважды ускользала от куньих зубов. Кунице мешал пушистый дымчатый кот. Куница вспомнила о добыче и решила снова попытаться.

Над чёрными крышами неслись скомканные ветром облака. Иногда между ними выглядывала луна, в деревне светлело, тускло поблёскивали окна — дома как будто приоткрывали глаза. Но тучи смыкались, луна исчезала, и дома опять погружались в сон.

Через знакомую щель куница шмыгнула в сарай. В нём было темно и глухо. И пусто. Куница пошарила там, где раньше сидела курица. Никого. Она прыгнула на ясли, обследовала полку. Звякнула упавшая консервная банка.

В доме раздался яростный лай. Собака! Откуда она взялась? Это было страшнее всего. Куница бросилась к щели.

Мальчик скрёб порог, пытался открыть дверь. Я выскочил на крыльцо. Над землёй ещё стояла ночь. Лишь на востоке брезжил поясик холодной зорьки. Маля исчез в лесу. Лай его удалялся: он кого-то преследовал. Но кого? Кто приходил к нам в гости?

Я наскоро оделся, схватил ружьё и побежал за лайкой. В лесу было ещё темнее, чем на горе. Я вламывался в кусты, оскользался на мшистых камнях, проваливался в какие-то ямы и колдобины. Время от времени я останавливался и слушал, лает ли Маля. Высокие сосны шумели макушками и роняли шишки. Мне вспомнился Химик — уж не его ли это Шишкач?

Лай собаки слышался далеко и глухо. И опять шла погоня: Маля — за ночным гостем, я — за Малей, а за мной, может быть, прыгал по ёлкам Шишкач — то и дело летели в меня шишки и какие-то сухие, шершавые сучки.

Медленно, неохотно впускал лес рассвет. Маля был уже недалеко.



Передо мной лежало урочище, сжатое скалистыми сельгами¹. А в нём лаяло несколько Малей.

«Ай-ай!» — неслось из урочища.

«Ай-ай-ай!» — дробилось справа.

«Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!» — катилось слева.

Эхо отскакивало от скал, множилось и переплеталось. Полно урочище лаек! Который же здесь Маля?

Я спустился в урочище. Эхо стихло. Мальчик сидел под ёлкой и поглядывал навёрх. Это была очень старая, очень высокая ель. Зелёные бороды лишайников свисали с её широких густых лап. Дерево спало. Спали вокруг и другие деревья, такие же старые и зеленобородые. Лай собаки звенел под ними, как надоедливый будильник. Глухое урочище не хотело просыпаться. Только наверху всё так же весело скакало по сельгам эхо. Там лес уже не спал.

Я обошёл ель кругом, но никого, ничего на ней не заметил. Кроме вороньего гнезда, темневшего высоко у ствола. Пусто было и на соседних елях. На кого ты лаешь, Маля?

Я взял сук и поскрёб им по еловому стволу всё выше и выше, будто полез наверх. Из гнезда выглянула круглая голова с маленькими круглыми ушками. И тут же спряталась. Я заколотил суком по ёлке. Из гнезда шмыгнул, ручейком прокатился по стволу кто-то тёмный, длинный, гибкий... Куница!

Сумрачное урочище вздрогнуло от выстрела. Куница долго падала из серого рассветного неба, задевая за ветки, и Маля поймал её на лету.

Так мы с Малей пришли к утреннему чаю с добычей. Кот, увидев куницу, зашипел и прыгнул на печь. Курица забилась в угол.

Не бойся, Диан, не бойся, Ксантипа! Ничто не грозит вам больше в лесу.

ЗВЕЗДЫ

Мне когда-то подарили книгу о звёздах — звёздный атлас. На круглых синих картах, изображающих небо, звёзды так соединены тонкими линиями, что получаются фигуры-созвездия, похожие своими очертаниями на те названия, которые даны им с давних пор. Большая и Малая Медведицы, Лебедь, охотник Орион... Населённое животными и сказочными героями, небо оживает.

...Смелый охотник Орион пленился красотой семи дочерей титана Атланта и не мог сделать выбора, которой из них отдать предпочтение.

¹ Сельга — каменная гряда.

Надоела красавицам назойливость Ориона, и обернулись они белыми голубками. Охотник натянул свой лук на стайку голубок, но они успели превратиться в прекрасное созвездие — Плеяды... Стал созвездием и Орион, навсегда застыв с натянутым луком в руке.

Но это на звёздной карте. А когда смотришь в настоящее вечернее небо, где нет, конечно, никаких линий, созвездия теряются. Мне то не хватает звёзд, то я нахожу лишние, каких и на карте-то нет. К тому же, мешает электрическое зарево московских огней, от которых звёзды как бы смущаются и гасят свет.

На горе неба много. По ночам его усыпают звёзды, близкие и крупные, как фонари. Вот где пригодилась бы подаренная книга!

Перед сном мы втроем — я, Маля и Диан — выходим полюбоваться звёздным небом. Ксантипа давно спит. Куры, наверное, единственные птицы, которые никогда не видят звёзд.

К ночи немножко морозит. Тихо. Чуть шуршат, испуская свет, близкие звёзды. Или это, как морская раковина, шумит в ушах тишина?

Маля и Диан в небо не смотрят. Они, наострив ушки, слушают лес. Хрустнул сучок. Ворохнулся сухой лист. В ночном тёмном лесу осторожно бродят звери, шмыгают в повядшей траве мыши.

За лесами, за Онегой на горизонте светятся россыпи огней, как упавшие на землю созвездия. Одна звёздочка на Онеге движется — это, наверное, спешит домой катер.

Мне тоже надоедает смотреть на звёзды. Я ничего не могу больше вспомнить про Ориона, небесного охотника. Так он стоял с натянутым луком тысячу лет назад, так же холодно будет светить ещё тысячи лет.

Легче представить жизнь огней в далёких посёлках — земных тёплых звёзд. Кто-то сидит сейчас за уроками. Кто-то смотрит телевизор — «Человек и закон». Или хоккей с канадцами. А может, сидят вокруг самовара, едят варёную картошку и пьют чай... Я подумал вдруг, что и с катера, и из посёлков за Онегой тоже видят огонь в моём окне — далёкую земную звёздочку на высокой горе. Только вряд ли могут представить, как сижу я сейчас на поленнице и почёсываю за ухом бездомного кота Диана...

Где-то в лесу громко свистнул сыч-полуночник.

Пора спать.

ТЯНУТ ГУСИ

Если в ночь поднимется ветер — быть затяжному ненастью. Это верная примета.

Вчера под вечер вдруг задул северный ветер, жёсткий и порывистый.

Его зовут здесь северигой. И погода сразу сломалась. Холодно стало, будто распахнулось окно и широко потекла стужа.

Ночью северига окреп. За окном свистело, на крыше стучала отовравшаяся тесина, что-то колотилось и тоненько выло в трубе. Под ударами ветра дом вздрагивал и крихтел. Ветер где-то просачивался и внутрь. Он бродил по дому, перебирал бумаги на столе и трогал висевшее у печи полотенце.

Всю ночь через гору летели гуси. Они шли «шубой», стая за стайей. Я проснулся, лежал в темноте и слушал их крики. Видно, зима пришла в приполярную тундру, на далёкую гусиную родину. Потянулись гуси на тёплый юг.

Они летели и днём. Над горой стаи шли низко. Мне был слышен шум их сильных торопливых крыльев. От одной стаи отделилось что-то похожее на узкую листовку и повисло в воздухе. Листовка крутилась воронкой и козырнула на ветру. Я следил за ней, пока она не ткнулась в землю. Оказалось, это перо. Крепкое, плотное маховое перо. От него, как на вышке, пахло свежим поднебесным ветром.

Маля и Диан раньше меня слышали налетавших гусей. Они крутили головами, высматривая стаю. Маля тихонько скулил. От печальных гусиных криков нам всем было как-то беспокойно. Даже Ксантипа больше чем обычно топталась в своём углу и заглядывала в окно. Вероятно, все мы чувствовали, что не только в гусиной жизни произошли изменения. Менялось время года. Поспешно уходила осень. Северига безжалостно ободрал последние листочки с берёз и выдул из леса запахи прели и грибов. Молодым близким снегом запахло в лесу.

Последний гусь принёс на хвосте зиму. В воздухе замедькали снежинки. Лёгкие, сухие, они долго носились по ветру и не хотели ложиться на землю. Вскоре целые рои белых мух закружились в небе. Снеговые заряды шли из-за Онеги волнами. Возле крыльца выросла первая косица сыпучего снега.

Пришло время думать об отъезде. Мне жаль было расставаться с Дианом и Ксантипой. Я привык к ним и решил взять их с собой. И я принялся мастерить клетку для Ксантипы и лукошко для Диана.

ГАННИБАЛ

Мне остаётся рассказать, как началась городская жизнь у Диана и Ксантипы. Дома коту было предоставлено старое кресло, а курице — просторный балкон.

— Скучноато ей одной сидеть на балконе, — покачал головой Юра.



Мой друг приехал на машине узнать, как я провёл отпуск. — Городские бездельники-голуби — это не компания для такой мудрой курицы.

— Да вот, собираюсь съездить на Птичий рынок, купить ей петуха, — сказал я.

— Не понимаю, что значит «купить ей петуха»? — пожал плечами Юра. — Кто будет сидеть с петухом на балконе, ты или Ксантипа? Забирай курицу и едем на Птичий. Пусть сама себе выберет.

Мы показывали Ксантипе всех петухов в птичьем ряду и старались определить, который из них ей больше нравится.

— Нет, — морщился Юра. — Всё не то. Отворачивается. Просто нос воротит. Одичала, что ли, на горé?

В который раз мы проходили куриным рядом. Хозяйки покупали живой товар и уносила его, держа за связанные ноги вниз головой. Ксантипа возмущённо кокала.

— Вообще-то я её понимаю, — останавливался Юра перед белыми тощими петушками. — Разве ж это петухи? Марафонцы какие-то, а не петухи. К тому же, в этих леггорнах слишком уж сквозит их инкубаторское происхождение.

Наконец мы нашли, кажется, то, что нужно. Грудастый чёрный петух потряхивал бородой и поглядывал на нас дерзким оранжевым глазом. Это был обыкновенный деревенский кочет, родившийся под наседкой и выросший на задворках. Его продавала бабка в пуховой шали и модном плаще. Из бабкиной пазухи испуганно таращилась остромордая кошчонка. Я показал кочета Ксантипе. Судя по всему, кочет ей понравился. Он, наверное, был похож на тех, что горланили когда-то на Диановой горе.

— Поёт? — спросил я.

— Что ты! — замахала руками бабка. — На всю Москву слышать. Ансамбль, а не петух.

— А шпоры-то! — изумился Юра. — Он у вас не кавалерист, случаем?

— Бедовый! — подтвердила бабка. — Сейчас бы подрался, да не с кем.

— Что ж продаёте такого молодца?

— Так ведь, батюшка, ломают нас. В башню переселяют. На шестнадцатый этаж — куда ж его? Балкона и того нету. Вот и Маруську тоже. Может, и её возьмёт? Такая умная кошечка, прямо...

— Нет, — отказался я. — Заберите её в башню. Кошкам балкон не обязателен.

А петуха мы купили. Он важно стоял, выпятив воронёную грудь, и смотрел, как Ксантипа, выкидывая искалеченную кунницей ногу, маршировала перед ним по балкону.

— Генеральский смотр! — засмеялся Юра.

— Ну, нет, — возразил я. — У нас в подъезде живёт отставной генерал. Это скромный человек в вязаной шапочке, совсем не бравого вида. Летом он сидит по вечерам на лавочке, читает лифтершам газеты. Только раз в году, Девятого мая, он надевает форму с орденами и уходит на Праздник Победы. А этот, смотри — фельдмаршал, не меньше!

— Ну, тогда Ганнибал! — вспомнил Юра. — Самый знаменитый полководец древности. Гроза римлян. Звучит-то как: Ган-ни-бал!

Так петух стал Ганнибалом. Он принялся исправно отбивать зорю и воевать с нагловатыми голубями, воровавшими корм в курином корытце.

Кот Диан тоже привык к городу. Целыми днями он спит в старом кресле перед телевизором, а по вечерам отправляется гулять. Он сидит во дворе на пустой спортплощадке в окружении кошек и, вероятно, хвастается победами над кунницей.

НА БОБРОВОЙ РЕКЕ





РЕКА ДЕТСТВА

В детстве я жил неподалёку от реки по названию Битюг. Недалеко, но и не очень близко: десять километров. Каждый день не находишься. Но что делать, ближе речек не было.

Отец возвращался весной из поездок по району, рассказывал:

— На Битюге лёд посинел и вздулся, по краям лужи, вот-вот тронется...

Лесники приезжали с дальних кордонов:

— Широко разлился Битюг, высоко вода стоит...

Рыбаки приносили свежую рыбу.

— Откуда рыбка? — спрашивала мать, любясь блестящей чешуёй.

— Известно, с Битюга, — отвечали краснощёкие обветренные рыбаки. — Откуда же ей ещё быть?

На Битюге, говорили, водились бобры.

На старицах и ближних к Битюгу болотах гнездились журавли, была уйма диких уток.

Битюг, на Битюге, по Битюгу... То и дело упоминалась в разговорах наша речка, не очень далёкая и не очень доступная.

Собрались компанией мальчишек, мы иногда ходили на Битюг ку-

паться. Дорога шла сосновым бором. После его смолистого сухого зноя было особенно приятно окунуться в прозрачную свежую воду. Мы загорали и паслись в ежевичнике, густо опутавшем берег. А Битюг тёк да тёк себе мимо мыска, где валялись мы на горячем белом песке.

И никто из нас не знал, откуда берётся речка и куда она течёт дальше.

ДАВНЯЯ МЕЧТА

Прошло много лет. За это время я побывал на многих больших и малых реках, на нескольких морях и даже на Великом или Тихом океане. Но Битюг по-прежнему манил меня. Будто это была не маленькая речка в Средней России, а далёкая сказочная река Амазонка. Такими же таинственными, как в детстве, оставались для меня незнакомые битюжские берега, всё так же хотелось узнать, откуда и куда он течёт. Да если бы я и побывал на диковинной Амазонке, где плещутся крокодилы, а в тенистых дебрях кричат попугаи, вряд ли оставила бы меня мечта проплыть по Битюгу.

Слов нет, Амазонка замечательная река. Интересно бы побывать на ней!

Но река эта — южноамериканская. Чужих рек много. На всех не побываешь.

А Битюг — это ведь речка моего детства. Одна для меня, единственная.

А раз она моя — как же не знать её?

И мне стало стыдно, что я до сих пор не исполнил свою давнюю мечту.

СВЕТ НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Я упаковал лёгкую раскладную лодочку, взял свою собаку-лайку по имени Пыж и отправился в Воронеж. Оттуда до Битюга ходит местный поезд.

Но пока я выгружался со своим багажом, этот поезд ушёл. Холмик зелёных выгоревших рюкзаков сиротливо торчал на сером асфальте. Наверху сидел Пыж: оттуда шире открывалась привокзальная площадь нового для него города.

— Плохо, дружище! — сказал я Пыжу. — Следующий поезд только вечером...

Он лёг. Ждать так ждать. Не в первый раз. Мы вместе бывали на севере, летали на самолёте, плавали на пароходе, тряслись на попутных грузовиках... Пыж мне верил.

Я выбрал рюкзак помягче, чтобы погоревать на нём до вечера, но тут подкатило такси. На панели в машине виднелась табличка с фамилией шофёра — Торопыгин. Такая фамилия меня приободрила. Очень уж хотелось поскорее попасть на речку!

— Я бы повёз,— сразу согласился шофёр товарищ Торопыгин.— Да бензину маловато. Вон Олег Сергеевич стоит, наш главный диспетчер, может, он что сделает?

Олег Сергеевич в больших очках был похож на доктора наук. Он внимательно посмотрел на меня, на объёмистые рюкзаки и на терпеливого Пыжа.

— Лайка? — строго спросил главный диспетчер.

— Лайка,— подтвердил я.— Западносибирская.

— Лайка — это серьёзно,— уважительно сказал главный диспетчер.— Давайте попробуем. Надо только заехать к королеве.

Я покосился на шофёра. Но товарищ Торопыгин был невозмутим.



Видно, не впервой ему приходилось ехать к этой самой королеве. И я поскорее забрался в машину: к королеве так к королеве. Лишь бы был бензин!

Королева носила красный берет с хвостиком на макушке. Олег Сергеевич проснулся в узкое окошечко, поговорил с ней, и королева бензоколонки отпустила нам тридцать литров бензина. Теперь хоть на край света!

Через два часа мы действительно оказались на краю: старое, поросшее травой шоссе обрывалось высоко над рекой. Внизу в воде торчали сваи разобранного моста. Новый мост и новое шоссе виднелись в полукилометре выше по течению.

Вот он, старый знакомец Битюг!

Светило солнышко. Синела река. Покачивались зелёные ножи камыша. И далеко виднелась с обрыва пойма.

— Эх, хорошо! — вышел из машины шофёр Тороныгин. При виде такого раздолья ему захотелось поразмяться. Он помахал руками и присел, хрустнув коленками. — Эх, хорошо! — повторил таксист. — Всё торопимся, спешим куда-то, а тут такая красотища!

Он посмотрел на часы, нырнул в машину и дал газ. Он торопился взять обратных пассажиров.

Спасибо вам, шофёр товарищ Тороныгин, главный диспетчер Олег Сергеевич и королева в красном берете! С вашей помощью мы оказались на Битюге раньше того поезда, на который опоздали.

ЖИЗНЬ ХОРОША И УДИВИТЕЛЬНА

Весло лежит на борту. Течение само тихо несёт лёгкую лодочку. Только сиди да по сторонам поглядывай. И запоминай. А как всё запомнишь? Чтобы не забыть, надо, пожалуй, записывать.

Я достал тетрадку, зачеркнул нелепые слова «общая тетрадь» и вывел старательно: «Бортовой журнал. Начат...» И стал думать, какой бы фразой покрасивее открыть мои записи. Но красивая фраза не приходила. Нелегко написать первую фразу на абсолютно чистом листе бумаги. Вспоминалось прочитанное в какой-то старой книге: «Солёный ветер наполнил поднятые паруса, и гордый бриг вышел в море навстречу бурям...» Про море — там легче. А здесь хоть и красиво, но гордости никакой: камыши, лягушки... «Солёный ветер тронул камыши, и...» Нет, не то. И почему он «солёный» здесь, на Битюге? Чепуха какая-то...

И вдруг я увидел явственно, как на кухонном столе стоит банка с

солю, приготовленная в дорогу. Я её забыл... А плавание без соли — это совсем не то, что с солью. Несолёную уху, например, в рот не возьмёшь.

Первая фраза в бортовом журнале получилась такой: «Растяпа! Я забыл соль...»

Ход дальнейших записей прервал странный предмет, плывший передо мной по течению. Он был кругл и походил на небольшую плавающую мину. Как у настоящей рогатой мины, из предмета торчал вбок какой-то шпёнёк. На макушке этой «мины» стояла трясогузка и покачивала хвостиком.

Я отложил боржурнал, схватил весло и кинулся догонять загадочный шар. Впрочем, никакой загадки, как выяснилось очень скоро, тут не было — по реке плыл обыкновенный арбуз с привядшим поросёньим хвостиком. Я толкнул его веслом — арбуз охотно окупнулся и закувыркался, показывая выеденную середину и нацарапанную на тёмно-зелёной шкуре надпись: «Ел Боря Полторака». В царившей под лучами полуденного солнца тишине я услышал, как хрустела красная и сочная арбузная мякоть на зубах счастливого Бори Полторака, и мне захотелось арбуза. Ах, арбузика бы сейчас! Арбуза и соли — вот чего не хватало мне для дальнейшего плавания по Битюгу...

Прошло время, и ракитник на берегу расстунился. Показались крыши дальних домов. Я привязал лодочку за коряжину и отправился на поиски соли и арбузов.

Известно, что любая дорога не минует магазина. Просёлок, который мне подвернулся, тоже привёл к магазину. Он назывался «Товары повседневного спроса». На крылечке дремала загорелая бабуса. Перед ней стояло ведро, полное крупных пунцовых помидоров.

— Продаёте? — неуверенно спросил я. Продавать помидоры в селе, утопавшем в садах и огородах, было то же, что торговать ромашками на лугу.

— Три рубля ведро, — восторгалась бабка.

— Мне этого много, продайте полведра.

Бабка подумала.

— Не, — сказала она. — Ведро.

— Ну, за те же деньги, только полведра.

— Не, — отрезала она, хорошенько подумав снова. — Ведро. Куда я полведра дену?

От густо свисавших с потолка липучек магазин имел новогодний вид. Соли и арбузов в нём не оказалось.

— Соль и кавунцы в хозмаге у Михалыча, — сказала продавщица, осторожно выглядывая между липучками, чтобы не приклеиться. — Только его нету. В школу вызвали. Павлик двойку получил.



Я отметил, что сегодня лишь третье сентября. Когда же этот Павлик умудрился схлопотать пару? Вот скоростник!

— Он такой. Его двойки раньше его родились,— выдала Павликову тайну продавщица.

Бабка на крыльце сняла с ведра три помидора и протянула их мне:

— Возьми, коль приглянулись.

Я полез за кошельком.

— Не, пе,— замахала руками бабка и разровняла помидоры в ведре, чтобы оно снова стало полным.— Я ведром продаю!

Я всё-таки заглянул в хозяйственный магазин. Продавца Михалыча всё ещё не было. Эх, Павлик, Павлик...

— Соль у него заперта, а кавунцы ещё не оприходованы,— сказала жена продавца и сдвинула на телеге солому. Под соломой лежали арбузы. Тёмные и некрупные, похожие на пушечные ядра.

— Хорошие кавунцы,— щёлкнула по арбузу хозяйка.— Сорт «победитель».

— Проси,— шепнул я Пыжу.

Пыж посмотрел на хозяйку и вежливо буркнул.

— Хорошая у вас собачка,— вздохнула жена продавца и вынула двух «победителей». Я опять полез за кошельком.

— Не,— отказалась от денег хозяйка.— Не могу я торговать. Не оприходованы потому что. Только привезли, не разгрузили даже. Каб мешок, а то всего два...

А соли мне дал пастух. Обычного пастушеского кнута у него не было.

— Нужён он мне! — улыбнулся пастух.— Да я за соль любую корову «куплю»!

Пастух достал из висевшей на боку торбочки горсть соли и показал коровам. Они шумно засопели и, облизываясь, пошли за пастухом.

Светило солнце. Тихо плыла, плаваясь в его лучах, река. Шуршали сухими крыльями стрекозы. Я ел сочный, прохладный арбуз. Вот жизнь наступила!

Пыж тоже чвакал арбузом. Он заглатывал куски прямо с семечками. А я их сплёвывал за борт. Они медленно погружались, поворачиваясь в светлой воде. Если бы они проросли, вся река была бы в арбузах!

На арбузные семечки набрасывались селявки. Они подталкивали их носами, пытались обсосать край.

Я опять вспомнил про журнал и сделал, наконец, «красивую» запись: «Есть и соль, и арбузы. Жизнь хороша и удивительна!»

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Водная дорога то становится широкой, как автострада, то сужается, как глухой просёлок. Берега сдвигаются и заглядывают в лодку. Буйными травами, пышными цветами украсил их Битюг. Высоченные, в руку толщиной дудки перевиты хмелем и вьюнком. Издалека видна в зелёной осоке вишнево-красная плакун-травя, яркая и жизнерадостная, вовсе не похожая на кислую плаксу. Свесились, любуются своим отражением сиреневые астры. Стойко цветёт, несмотря на сентябрь, растение с суровым названием «окопник». Словно соревнуясь между собой, берега выставляют напоказ свою красоту. Я включился в эту игру, разделил лист журнала пополам: «берег левый» и «берег правый». Где больше?

Скабиоза — это на правом!

Татарник — тоже.

А на левом — мята. И за нею — горец!

Справа — вероника!

Незабудки — на левом...

Но вот налево высится нечто удивительное: длинная палка, облепленная тесно сидящими жёлтыми цветами. Я даже причалил, чтобы разглядеть получше. Оказалось, что эти «палки» — там и сям — торчали по всему берегу. Здесь был выгон. Несколько чёрных коров бродило между жёлтых палок. Многие из этих странных растений были куда выше моего роста — метра два с половиной! По самой земле — округлые мохнатые листья, как уши. А на разложенных по земле ушей — то, что я увидел из лодки: толстый хлыст с как бы вылетёнными в него жёлтыми цветами. Я узнал гиганта и вспомнил его название. Вполне естественно, что при таких размерах их было два: по листьям он назывался «медвежье ухо», а по цветам — «царский скипетр». Было и третье — «коровяк». Теперь, глядя на прогуливающихся между скипетрами коров, я понял, откуда появилось и это название.

Получилось у меня в журнале что-то вроде гербария. Но не из растений, а из их названий. Жаль, маловато оказалось у меня свсдепий, чтобы унать все цветы в «лицо»...

А Пыж коллекционирует запахи. Близкие берега пахнут притаившимися зверями и птицами. Вот дохнуло чем-то незнакомым. Может, это черепаха, пригревшаяся на солнце?

Тоненькая, обрывающаяся, будто пунктирная, ниточка тянется от маленькой птички-камышевки, перепархивающей в тростнике. Иногда Пыж поскуливает и нетерпеливо топчется. Наверное, почуял толстый запах кабана, который сидит в тине и смотрит сквозь камыши, как проплывает лодочка с остроухой лайкой на носу.

После светлых лугов речка прячется в лесу. Тенистые липы, ольхи и клёны нависают над водой. Мы плывём под их сводом, как в туннеле. Какой, должно быть, стоит тут дух, когда цветут липы!

А сейчас здесь пахнет дубом — крепким, ядрёным запахом ранней осени. На дубах созрели жёлуди. Они падают в воду, булькнув увесисто и коротко, как пули. Дубы метят в нашу лодочку.

Понг! — стучаются жёлуди о тугую брезентовую палубу.

Пульк! — выговаривают они, врезаясь в воду.

«P-p-r-pl!» — выговаривает Пыж, когда жёлудь угодит в него.

ВОДЯНОЙ ПАСТУШОК

Порой кто-то окрикивает нас из камышей, вопрошая требовательно и строго: кто?! Откуда?!

В просветы зарослей видно, как быстро бежит рыжевато-чёрная

птица — водяной пастушок. Кого насёт он в камышовых джунглях? Не клопов ли водомеров?

Водомеры целыми стадами отстаиваются где-нибудь в затишке. Увидят надвигающийся пос лодки и разбегаются по воде врассыпную. У водомера на ногах широкие лопаточки-водоступы. Бежит он в них по воде, как по полу: не проваливается. Бежит толчками, вымеряя речку четвертями. Раз толчок — четверть. Два — ещё четверть. Перемерил Битюг и встал под бережком, чтобы течением не сносило.

Водяной пастушок тоже не проваливается на воде. Росту невеликого, с цыплёнка, а ноги будто от цанги приставлены — голенастые и длинно-палые. В самый раз такими ногами по водорослям бегать. Вот пастушок и бегаёт. Как по суху. Добежит до края камышей, а дальше — стоп: чистая вода. Омуток. Ни единой травки. Надо лететь. А летун он совсем ненажный. Не столько летит, сколько бежит, крыльями лишь помогает, да с таким плеском и шлёпом, будто кто в ладоши хлопает. Одолеет чистую воду, сунулся в камыши и исчез, как иголка в стогу сена. Не ищите теперь пастушка. Вряд ли на глаза покажется. Большой мастер в траве притаться. Теперь до новой встречи с другим пастушком.

РЫБАКИ И РЫБКИ

Какая речка обходится без рыбаков? Есть они и на Битюге.

Я замечаю торчащие из кустов длинные удилица и перестаю грести, чтобы не пугать рыбу.

— Ну, как — ловится?

Рыбак откликнется не сразу. Ему надо очнуться от сладких мыслей, привязанных к висящему под водой крючку.

— Рыбка плавает по дну... Нам поймать хотя б одну...

Всё ясно: неудачник этот рыбак.

Другой отвечает:

— Удить-то удим, только есть навряд ли будем...

Тоже понятно. Из той же компании невезучих рыбаков.

Третий улыбается, подмигивает с берега:

— Кошке да себе немножко.

— Это сколько же — «немножко»?

— Да вон целое лукошко.

Ну а это уже немало. Оттого и весел этот балагур.

Четвёртый машет рукой, вздыхает:

— Без лодки какая рыбалка... Вот если б на лодке...

Этот рыбак из разряда мечтателей-нытиков. Ему дай лодку, он всё



равно будет вздыхать: «Что тут за рыбалка? Битюг — речка маленькая... Рыба тут мелкая... Вот, если б на Дону...»

Окажись он на широком Дону, мечты и там понесут его дальше: «Вот если б на море... Или на Атлантическом океане — вот где рыба ловится!»

Попадались рыбаки и на лодках. Больше на резиновых пухлых надувашках. В одном месте так густо заплотили речку, еле протиснулся между ними. Сидят рыбаки, каждый в своей резиновой «тарелке», и на поплавки соседей поглядывают — как там у них?

Встретился старый рыбак на лодке-душегубке, выдолбленной целиком из ствола толстой осины. Сидит на корме, веселком потихоньку отгребается. За ним тянется «дорожка» — длинная леска с латунной рыбкой-блесной на конце. На щуку такая снасть. Поздоровался.

— Ж-ждраштуй, — отвечает.

Спросил у него, далеко ли до города Боброва.

— Жавтра догребёшь, ешли поштараешша.

— Что-то я у тебя, дед, ничего не пойму, — посетовал я. — Жамкаешь что-то, всё «ж» да «ш»... Жужжишь, как шершень.

— Видишь? — показал он стиснутые вставные зубы. — Жубами дорожку держу. Жубами шражу почувствуешь, когда шщука возьмёт.

— Ох, дед! Хватанёт большущая щука и вырвет дорожку вместе с зубами! — предостерёг н рыбака.

— Нич-чо! — засмеялся рыбак, не выпуская из зубов жилки. — Они у меня железные. Ишшо поштавлю. Железа в стране хватает!

ЗИМОРОДКИ

Но самые усердные рыбаки на Битюге — это зимородки. Часами сидит зимородок над рекой и смотрит в воду. Ждёт. Терпеливо, как кошка, караулящая мышь у норки. Увидит рыбку под собой и камнем врзается в воду. И почти всегда вылетает с уловом. Редко когда промахнётся. Для такой рыбалки нужна прозрачная вода. И поэтому живут зимородки только на чистых речках.

Ростом зимородок поменьше воробья, но разодет как франт: голова и крылья зелёные, спина голубая, манишка красноватая, а щёки жёлтые с чёрной каёмочкой. Далеко его видно, когда он быстро летит над самой водой, будто яркий изумрудный фонарик.

Я знал, что зимородки роют в берегах глубокие печурки и делают в них гнёзда из мягких рыбных косточек. И что пахнет из такой печурки рыбой.

Нам не раз попадались печурки в обрывистых берегах. Некоторые и даже обнюхал, но запаха рыбы не уловил. Пахло из них землёй и немножко курятником.

Однажды я насторожил жерлицу — спасть на щуку, похожую на рогатку. Одним концом леска на рогатку намотана, а на другом — живая рыбка для приманки щуки, «живец».

Ночью наживку никто не тронул. А в полдень я обнаружил жерлицу размотанной. Ага, кто-то есть!

Но крючок оказался пуст. И леска стянута как-то странно — не в глубину, куда щука обычно пытается уйти, а к берегу. Я снова поставил жерлицу. И опять кто-то снял живца. Кто же ворует наживку? Я решил подкараулить воришку и спрятался в кустах. Не прошло и часа, как «загадка» жерлицы раскрылась. Зимородок!

Он сел на палку, к которой крепилась жерлица. Замер, наблюдая за рыбкой. И как только живец подплыл — кинулся в воду.

Пришлось мне снять жерлицу. Поймаешь ещё непароком зимородка!

КАБАНЫ И ЧЕРЕПАХИ

Говорят, панцирь черепахи выдерживает автомобиль. Не знаю, не проверял. Была черепаха — не было автомобиля. Был автомобиль — не оказывалось под рукой черепахи. А если бы и оказалась, всё равно не следовало бы, наверное, подкладывать под колёса бедную черепаху.

Но сам я вставал на панцирь умершей и высохшей черепахи. И даже попрыгал на нём. Хотя бы что! Панцирь этот я когда-то нашёл на болоте.

В Битюге тоже живут болотные черепахи. Я причалил под вечер к берегу и пошёл посмотреть, годится ли он для ночёвки. Когда я вернулся к лодке, она чуть-чуть отошла на ослабшем шнуре. Низкое солнце просвечивало под лодкой воду, и в этой солнечной воде плавала вверх ногами черепаха. Небольшая черепашка величиной с пепельницу. Как водолаз-аквалангист, которого спустили осмотреть подводную часть судна, черепашка изучала мягкое резиновое днище. Возможно, оно представлялось ей животом невиданного плавучего чудища. Черепашка тыкалась в днище головой и скребла по резине корявыми узластыми лапами. Короткий тонкий хвостик смешно отвисал в воде, как шнурок от ботинка. Черепашка заметила меня и спряталась под берег.

Но её любопытство всё-таки оказалось сильнее страха. Я опустил в воду весло. Черепашка подумала немного и выбралась поглядеть на блестящую алюминиевую лопасть. После ужина я пустил поплавать на верёвочке пустой котелок, и она снова не удержалась, чтобы не посмотреть, что это такое.

А в лесах по берегам Битюга живут кабаны. Они проминают в камышах тропы к реке, жуют сочные корни рогоза и распахивают лужки в поисках жучков.

Какая связь между кабанами и черепахами? Я считал, что никакой. Кабаны — кабанами, а черепахи — черепахами.

Но вот мы с Пыжом забрели в лес и наткнулись на болото. Жаркое лето высушило его. Илистое болотное дно было истыкано кабаньими копытами. В болоте жили черепахи. Мы пашли несколько панцирей, но все они были пусты и разломаны. Что случилось с черепахами? Кто сокрушил черепашью броню, которая, говорят, выдерживает автомобиль?

Оказалось, кабаны. Всеядные дикие свиньи ухитрились расколоть, как орехи, панцири и полакомиться беспомощными обсохшими черепашками. Вот вам и несокрушимая броня!

Не знаю, как в отношении автомобиля, а против мощных клыков кабанов-секачей черепашья панцири не устояли.

БОБРЫ

Бобры — исконные битюжские жители. Даже город, стоящий на Битюге, называется Бобров, и на гербе этого города изображён бобр.

Мало кто видел бобров на воле. Зверь ночной и очень осторожный. Но следы их ночного хозяйничанья трудно не заметить. Подгрызенные и поваленные деревья, вороха широких, как от стамески, стружек, пни, похожие на плохо заточенные карандаши, промятые в камышах тропинки, хатки, в которые можно попасть, лишь поднырнув в воде, — всё это работа бобров. И пляжики, обтопанные мокрыми перепончатыми лапами, тоже бобриные: тут они выходят на берег. Каждый такой пляжик оглажен чем-то мокрым, будто бобр вытаскивал бредень. Я не сразу взял в толк: что же всё-таки выволакивают бобры из реки? А потом догадался: хвост! Широкий и плоский, как лопата, голый хвост, который охотники называют ёшибом. Выберется бобр на пляжик, вытащит тяжёлый мясистый хвост-ёшиб, отряхнётся по-собачьи и отправится знакомой тропкой по своим ночным делам.

Ночью меня разбудил какой-то звук. Полежал, прислушался. Тихо. Может, показалось? Но вижу, что и Пыж насторожился. Сидит у застёгнутого выхода из палатки.

Вдруг — бу-бух! Будто валун сбросили с обрыва в реку. Пыж даже подпрыгнул.



И опять тишина.

Спустя время снова: бу-бух! Ещё валун. И пошло, удар за ударом: бу-бух! Бу-бух! Бу-бух!

Признаться, оторопь меня взяла. Ночь, безлюдье и глушь, а Битюг такими бултыхами выворачивается. Вылез из палатки, а Пыжа оставил, чтобы не спугнул тех, кто булыжниками кидается. Луна. Реденькие облака, как перышки, ровно растружены. Зябко. Речка плотным туманом залита. Красота! Красиво, но ничего не видно. Кто-то в тумане шебуршится осторожно. Тихо поплёскивает. Бухнуло! Ещё раз! А кто — не видать. Только туман покачивается, светится под луной. Но тут запертый в палатке Пыж обиженно тявкнул, и всё стихло.

А в один из вечеров я припозднился у костра. Поправляя, пошевеливал палочкой дрова, смотрел в огонь. Слышу — шуршит осока на том берегу. Чьи-то шаги. Соступил в воду. Всплеснул... Поплыл... Два уса разошлись по воде. И вдруг — как бухнет! Так же, как тогда. На валун похоже. Круги побежали по омуту. Закачалась в них, раскололась отражённая луна. Не успела вода успокоиться, опять как шибанёт!

Бобр. Недаром у него хвост так называется — ёшиб.

ФИГУРА БРАКОНЬЕРА

Я полюбил Битюг сразу, с первых дней плавания. Полюбил его зелёный мир, тихие заводи с белыми кувшинками, его чистую воду, птиц и рыбёшек, быстрых, как солнечные зайчики.

Мне захотелось защитить эту маленькую речку. Но от кого? Кто мог ей угрожать?

Прежде всего, конечно, браконьер. Самый страшный враг природы. Фигура браконьера представлялась мне омерзительной. Фигура скалила жёлтые ненасытные зубы и бряцала ржавыми петлями-ловушками. С браконьерского плеча свисала мокрая сеть, полная красноперок. Карманы топырились от шашек тола. Я поглядывал, нет ли в округе такого браконьера, чтобы схватиться с ним и выдворить с Битюга.

Но браконьера не было. Никто не перегораживал речку сетями, не глушил рыбу толом и не палил из ружья в птиц и зверей. Желание защитить Битюг не находило себе дела и беспомощно обвисало, как парус в полный штиль.

И вот появился браконьер. Он сидел в старом, латаном ботничке и натягивал перемёт — десятка два крючков на длинном, через всю реку, шнуре. Я подгрёб к ботику. Браконьер разогнулся и оказался тщедушным конопатеньким дедушкой.

— Доброго вам здоровьяца, дальний путешественник, — ласково сказал дедушка-браконьер и глянул на меня голубыми, как цветочки льна, глазками. Он снял картуз. Обнажилась лысина, покрытая крупными веснушками, похожая на божью коровку. — Благодарь-то какая! — продолжал он, окидывая взглядом речку и расплываясь в улыбке.

— Рааве перемёт не занрщён? — я решил не поддаваться на браконьерскую ласку и быть строгим.

— А не знай, милоч, — ответил он, всё так же улыбаясь и не обращая внимания на мою строгость. — Всю жизнь, как родился туточки, ловлю. Поставлю да и пойду. У коровы прибрать или картохи копать, к примеру... А вечером приду, глядишь, и будет десяток окушков нам со старухой на ушицу. Или плотвушка попадёт, тоже годится...

Нет, не браконьер этот дедушка, решил я. Человек, который родился на речке и прожил на ней жизнь, имеет право ловить в ней рыбу. Даже перемётом, который работает на рыбака, пока он косит сено или копает картошку. Никак не мог я найти злостного хапугу-браконьера...

Но не всё благополучно было на Битюге. Всё-таки речка нуждалась в защите. Едва мы тронулись в путь, мне попалась бутылка. Сразу вспомнились старые романтические истории с кораблекрушениями, бутылочная почта... Я даже заглянул в бутылку — нет ли в ней записки?

В остальные заглядывать уже не хотелось. Одни бутылки плыли по течению, другие торчали, застряв в водорослях. За каждой из них виделся взмах человеческой руки, бездумно метнувшей бутылку в чистую реку. Нет, одной руке не под силу было накидать столько бутылок. Тут требовалась компания бутылкометателей...

Я попытался подсчитать бутылки, чтобы предъянить этот счёт первому встречному метателю. Но никто не кидал на моих глазах бутылок. Предъявить счёт было некому.

Ночью мне приснился сон. Всех бутылкометателей затолкали в огромную бутылку. Они барахтались в ней и скользили по стеклу, как хлебные вредители жуки-кузьки, которых мы собирали на полях в школьные годы.

«Не надо нас в воду! — вопили бутылкометатели. — Мы больше не будем!»

...В конце пути фигура браконьера представлялась мне уже иной. Она была неопределённых форм, рыхлой и расплывчатой. Она всё время меняла свои очертания, и воевать с ней было трудно, удары как бы приходились в пустоту. Фигура была составной. Она складывалась из тех рыбаков, которые густо сидели в резиновых лодках и раскидали вокруг крючков больше чем в двадцати перемётах, и из тех неизвестных, которые скатили в речку вонючую бочку из-под солярки. В неё входили

лесорубы, которые бензопилой «Дружба» валили зелёные деревья на берегу неподалёку от села Верхняя Тойда. В ней можно было разглядеть того стрелка из города Боброва, что пальнул забавы ради из двустволки в налетевшую цаплю-чепуру и, к счастью, промахнулся. Беззаботные бутылкометатели дополняли безобразную фигуру браконьера. Я устыдился, когда вспомнил, что однажды вынелеснул в реку сажные помои из котелка. Значит, и я прилепил к бесформенной браконьерской фигуре свой кусочек, тоже навредил немножко Битюгу — маленькой речке, которую так легко испортить. Которая вырастила тенистые леса на берегах, а в лугах — пышные травы. Которая кормит, укрывает и радует многих птиц, рыб и зверей.

И людей, конечно, тоже.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, СЫРНЫЕ БЕРЕГА

Рано утром из лесу донеслась музыка. И глухой дробный топот множества ног.

«То ли ещё будет, ой-ёй-ёй!» — предупреждала певица.

Показались коровы. Они бежали на луг, возле которого я встал на ночлег. Это было похоже на утренний кросс горожан «трусдой от старости». Лидер кросса, крупная пятнистая корова с кудрявой чёлкой между голубых рогов, прибежала на выгон, протрубила о своём первенстве и принялась жадно, с хрустом драть траву.

Послышались жестяное бречение и скрип. На опушку выехал на разболтанном дамском велосинеде пастух. За ним в траве змеился чёрный, мокрый от росы кнут. Велосипедные колёса отчётливо выписывали число «88». Пастух на ходу сошёл с седла, подтолкнул велосипед, и тот сзм ткнулся в куст, упёрся в него рогами. Кнут замер, как пригревшийся уж.

— Здорово ночевали! — сказал пастух. На нём была выгоревшая пляжная кемючка. Таниственный лунный свет стоял под её синим прозрачным козырьком.

— Подсаживайтесь завтракать! — пригласил я пастуха.

— Это можно! — охотно согласился пастух. — А чего мне теперь делать? Хоть весь день завтракай. Сейчас только музыку им поставлю. — Он щёлкнул магнитофоном. Полились звуки танго. — Под эту пасутся хорошо. А под ту лучше бегут.

За едой пастух снял кепочку. Без синего козырька лицо его оказалось рыжим, с красным облупившимся от солнца носом.

Звучала музыка. Дружно хрупали и сопели коровы. Велосипед по-



блёскивал из куста остатками никеля. Мы ели манную кашу, помидоры и частич в томате.

— Приходи вечером на тырло! — позвал пастух, расставаясь. — Гостем будешь!

Зорями над Битюгом гудят моторы. Идёт электрическая дойка коров. Мне давно хотелось посмотреть, как это делается. И я под вечер отправился в коровий лагерь. Большое красное солнце катилось по краю земли. Битюг тихо струил красную воду меж чёрных камышей. У ограды лагеря желтела автоцистерна с надписью: «Молоко». Под навесом урчала доильная установка с детсадовским названием «Елочка». Коровы стояли в металлических станках и косились на длинный гибкий шланг. Он вздрагивал от бежавшего в цистерну молока. Облако тёплого молочного запаха висело над тырлом. В нём бесшумно метался, ловил мошкату козодой.

Пастух сидел в вагончике за дощатым столом и разминал молодую картошку с простоквашей.

— Теперь ты со мной повечеряй! — подвинулся на скамье пастух.

Над столом висел вырезанный из газеты портрет доярки, обнимающей большую пятнистую корову.

— Это та обжора с голубыми рогами? — узнал я корову.

— Она! — с гордостью сказала доярка. — Наша Клёпочка. Клеопатра.

Любит покусать. Зато и молока даёт за двоих. Недаром говорится: «У коровы молоко на языке».

Меня угостили парным молоком. Оно пахло лугом. Пышная пена щекотала губы и шептала из кружки, уговаривая выпить ещё.

Шофёр молоковоза удил с мостков рыбу.

— Оккупанты лохматые! — ворчал шофёр, насаживая на крючок свежего червяка. — Такого классного выползка слопали...

— Чего бурчишь? — спросил пастух в темноту. — А, Валерк?

— Та раки! — с досадой сказал шофёр. — Не успеешь закинуть, тут же набрасываются!

— У тырла завсегда раков много, — рассудительно подтвердил пастух. — Тут им харчишки перепадают, ополоски бидонов, комбикорм...

— Валера! — крикнула доярка. — Молоко пить будешь?

— Оно мне снится, это молоко! — отозвался шофёр. — Всё молоко да молоко. Кабы квасу!..

Долго гудела «Елочка». Потом шум оборвался, всё стихло. Стало слышно, как дышат коровы и пробует голос лягушка на Битюге.

— Всё, Валера! — сказали в тишине. — Можешь ехать.

Цистерна, высвечивая пыльную дорогу, покатила в город на молокозавод. Будто пробился и побежал от Битюга молочный ручёк, чтобы слиться на заводе с ручейками от других коровьих лагерей и превратиться в кефир, ряженку и сметану, в пласты жёлтого масла и большие, как автомобильные скаты, круги сыра.

СТАРЫЙ ДРУГ

Что испытывает человек, оказавшись в кранх своего детства? Прежде всего, радость от того, что видишь знакомые места. Радость от того, что ждёшь — вот-вот встретится старый друг! Но бывает ещё почему-то немножко грустно, словно в светлом осеннем лесу, тихо роняющем листья. Может быть, потому, что того счастья, которое было когда-то, уже не вернуть...

У меня ёкнуло сердце: неужели это та самая песчаная коса, где валялись мы под солнцем? Так же, как тогда, была она покрыта осыпавшимися следами босых ног. Значит, кто-то приходил сюда купаться в жаркий день и бегал по горичему песку, делал такие же запруды у воды, запуская в них пойманных в пригоршню глазастых мальков... Вот я и приплыл в своё детство...

С радостью и печалью в сердце я отшагал те десять километров, что отделяли село от Битюга. Там жил мой давний друг Коля. Он работал

главным агрономом сада и, конечно, был уже не Коля, а Николай Аркадьевич.

В совхоз-сад я пришёл под вечер. В конторе Колю я не застал.

— Он тут редко сейчас бывает, — сказала мне уборщица. — Время такое — съём урожая!

На широком асфальтированном дворе было тесно от ящиков с яблоками. Между ними осторожно разворачивались тяжёлые грузовики и тракторы с тележками, сновали вёрткие автопогрузчики и автокары. Двор был похож на перекрёсток дорог, по которым шло перебазирование механизированных войск. На упакованных ящиках свежей краской было написано: «Архангельск», «Свердловск», «Новосибирск»... Эх, яблочко, далеко ты катишься!

Коли и здесь не было.

— Где-нибудь в саду! К сторожке загляни!

Я никогда ещё не был в таком громадном саду. Коля писал мне, что в сад приходят из леса лоси, кабаны и куницы, в нём живут зайцы-русаки. Это всё гости непрошеные: лоси обкусывают молодые веточки, зайцы обгрызают кору, кабаны подкапывают корни. Другое дело — птицы и пчёлы. Одни истребляют вредителей, другие опыляют цветущие яблони. И здесь их любили: на деревьях висели скворечни и дуплянки-синичники, а под яблонями ровными рядами разноцветных ульев выстроилась пасака.

Совсем засумерничало в саду, когда мы с Пыжом добрались до сторожки. Вышла стоптанная луна и покачивалась в перистых сквозных облаках.

Возле белёной мазанки сидел на перевёрнутом ящике сторож и глядел корноухого кудлатого пса. У стены стояла охотничья одностволка «переломка». В её ствол был воткнут подсолнушек-позднышек.

— Сиди, Рвач, сиди, — уговаривал сторож исицу. — Это сразу видно, не жулик. Те гнутя, хотят стать помене. А этот пон как идёт, лбом яблочки сшибает.

— Я нечаянно, — сказал я. — Не успел пригнуться....

— Да сшибай, сшибай, — разрешил старик. — Их вон сколько, пять тысяч тонн! Замучились, день и ночь грузим.

Караульный пёс Рвач колотил по ящику толстым от репьев хвостом и поглядывал янтарными глазами то на меня, то на Пыжа. И взгляд их говорил совсем не то, о чём стучал хвост.

— Сердит, видать? — я отвёл на всякий случай городского чистюлю Пыжа в сторону и привязал нод яблоней. Более близкое знакомство с кудлачом едва ли обошлось бы без драки.

— Что ты! — согласился сторож. — Второй директор!



— Имя какое-то дали ему человечье... Дорого берёт за свою охранную службу, что ли?

— Это смотря у кого какие штаны. Одному тут порвал, а они какие-то американские. Джинсы, что ли, двести рублей, говорят, стоят. А какой артист! Человека иногда не тронет, а одни только брюки, ну как ножом срежет!

«Это точно, — гонорили прозрачные собачьи глаза. — Это я умею...»

— Охотников до витаминов хватает, — продолжал сторож. Он, видно, хотел наговориться впрок, на всю одинокую безмолвную ночь. — Как-то слышу раз — яблоню трясут, яблоки об землю — тук, тук, тук... Притихнет маленько, и опять — тук, тук, тук... Ах ты, нахостник, думаю, сейчас я тебя прямо с дерева сыму. Подкрался потихоньку — наверху никого. А под яблоней, смотрю, — кабанша и вокруг ейные поросята. Она яет-яет да и торкнет в ствол илечом — яблоки градом. Постоит, послушает, ушами поводит — и опять. Яблоки падают, а ребятки за ними гоняются, шустрые такие и полосатые, как хоккеисты... Или вот как тогда...

Голубой электрический свет залил сад. Сторож зажмурился и замолчал. Полуоблетевшие ветки яблонь вычертились на свету кружевной сетью, в которой, как пойманные воробьи, темнели яблоки. По садовой дорожке катился, подпрыгивал на резиновых шинах, трактор. Он полоснул лучом по белёной стене сторожки, выхватил горой лежавшие под навесом яблоки и остановился. В прицепной тележке, держась за высокие борта, галдели и смеялись женщины. Среди них я разглядел Колю. Он узнал, выпрыгнул и сгрёб меня в охапку:

— Садись, поехали!

Я посадил Пыжа, меня подхватили сразу несколько крепких небольших рук. Выхватывая фарами стволы яблонь, трактор поскакал в сторону усадьбы. То наискосок, то поперёк открывали сною глубину между-рядья. В них клубился голубоватый туман. Держась друг за друга, де-вушки цели:

Как на лунке при луне...

Тележку трясло, песня прыгала и рвалась: «А-а-а... у-у-у...», по всё равно было прекрасно ехать по лунному саду, пахнущему яблоками и отсыревшей к ночи землёй.

Коля был моим охотничьим другом. Сколько немереных километров прошли мы вместе, о чём только не было переговорено у неторопливого почного костерка! Я провёл у Коли почти весь следующий день. Он показывал мне сад. Пыж останавливался у холмиков свежekoпаной земли, шумно соел: где-то под нами, в таинственном саду корней, прокладывал свои ходы крот.

— Приезжай, когда откроется охота по чернотропу! — прощался со мной Коля. — Пропасть, сколько стало кабанов!

Будто сообразив, о чём идёт речь, Пыж напомнил о себе, ткнул в руку носом: «Соглашайся, чего там!»

И я пообещал:

— Приеду!

ОСЫ, ШЕРШНИ И ЩУРКИ

Запах нблок — один из самых моих любимых. Он говорит о довольстве осенней земли и радостном труде садовода. Теперь у меня в лодке пахнет Колиным садом. Целый ящик великолепных яблок!

Их сразу оценили осы. Пахучая струя, которая тянется за лодкой, привлекает их с близких берегов.

Осы вызывают у меня одно и то же воспоминание: летнее погожее утро, открытая веранда, где пьём мы чай, солнечные зайчики на стенах и потолке, сирень и птичий щебет за окном — и непременно оса, нащупывающая своим хоботком что-нибудь сладкое. За это воспоминание я отношусь к осам с симпатией.

Чем можно им поживиться в сентябрьском лесу? Отцветающие ромашки, скабиозы, лиловые головки татарника... Если повезёт — груши-дички, ягоды тёрна, лесные яблочки-кислушки, шиповник.

А тут — отборные плоды сорта «осеннее полосатое»! Сладкие и ароматные! Как только осы улавливали пахучий «шлейф» лодки, они без сожаления расставались с тощими головками татарника и кидались в погоню. Они ползали по лодке, забирались мне в волосы и щекотали шею. Они искали лазейку в заветный ящик. На нём сидел Пыж. В густой Пыжовой шубе устойчиво держался запах «осеннего полосатого». Осы липли к Пыжу, как к мёду. Он отщёлкивался по-волчьи.

Чак! — мимо. Чак, чёлк!

— Ох, смотри, Пыж, «рубает» тебя оса!

Чёлк, чёлк! — опять мимо. Чак! — и нёс вскочил, завертелся, скалясь и строя рожи, отплёвываясь от осы. Лодка накренилась. Пыж прыгнул и поплыл к берегу: ну тебя с твоими яблоками!

А в ящике шло пиршество. Осы выгрызали в яблоках пещеры и, опьянев, засыпали. Я извлекал их соломинкой, вялых и сонных, сомлевших от блаженства. Выбранные осами яблоки были всегда самыми спелыми и сладкими.

Шершень — тоже оса, только раза в два больше. Но жалит сильнее, чем оса, не в два раза, а, пожалуй, раз в десять. Разнесёт укушенное

место и, бывает, даже температура поднимется. Правда, ни осы, ни шершни первыми обычно не нападают.

На открытом берегу я увидел необыкновенную лесную яблоню. На всех диких яблонях яблоки с грецкий орех, а на этой — как в Колином саду. Захотелось мне отведать лесного яблочка и сравнить с теми, что были в ящичке. Я забрался на дерево, тряхнул. Посыпались яблоки. И тут же раздалось грозное гудение. Шершни! Я прыгнул, подхватил первое попавшееся яблоко и кинулся бежать.

Целое и красивое спаружи, яблоко было почти полностью выедено изнутри. Одна кожа. Так обработали его шершни. Я всё-таки попробовал его. Оно было не таким вкусным, как из сада, но несравненно слаще, чем другие дички. Сидел, наверное, на берегу рыбака, грыз, глядя на поплавок, яблоко, кинул через плечо огрызок, и поднялось из него дерево; сминавшее шершней со всей округи.

Там, где много ос, много и щурок. Осы — их излюбленная добыча. Оперенье у щурок, как у райских птиц, окрашено красным и жёлтым, синим и зелёным. Щурки — землекопы, роют для своих гнёзд норки. Только садятся не поодиночке, как зимородки, а компанией. Не раз я видел поселения щурок в подмытых рекой берегах. Осыплется берег, и откроется обрыв, слоёный, как торт наполеон. Верхний слой, самый чёрный, густо пророс корнями трав. Под ним серый, посветлее. А дальше и жёлтый, и коричневым, и снова чёрный. Так меняла своё русло речка, наносила глину, ил и песок. Щурки для своих гнёзд выбирают слой помягче. Весь этот пласт, как из пулемёта, чёрными дырками прострочен.

Однажды, когда я подилыл к такому обрыву, выпорхнула из норки стайка пёстрых и стройных, чуть поменьше скворца, птиц — щурок. Будто радуга вспыхнула над рекой! И затараторили наперебой, как каменки в ручье посыпались: «Чюр-р-р, чюр-р-р, чюр-р-р...»

Потому, наверное, и называются «щурки», что имя своё выговаривают.

Охотятся щурки высоко в небе и всё время ведут гурчливую болтовню. Каждый день я слышал в поднебесье говорливых щурок, а видел близко только в этот раз.

БОГАТЫРСКИЕ КОНИ

На берегу стояла девушка в синих шароварах и бело-голубой динамовской майке. Она держала в поводу коня. Коня-великана. На его широкой спине можно было улечься, как на диване. Его толстые ноги были похожи на колонны, а копыта — на перенёренные небольшие тапки. Но



удивительнее всего была его масть — белая с шоколадными пятнами. Или шоколадная с белыми пятнами. Пожалуй, белого и шоколадного коню досталось поровну.

Конь пил. Круглые глотки прокатывались, как мячики, по его слоённой шее. Казалось, речка изменила течение и потекла к его губам. Даже подводные травы повернулись, тянули длинные листья туда, где пил конь. А он засасывал Битюг и тяжелел. Его копыто, накрывшее травяную кочку, медленно погружалось в воду.

Девушка щурилась от солнца и легонько пошвыстывала. Так делают всегда, чтобы лошадь напилась всласть. Восток-полуденник перебирал белокурые волосы девушки и шевелил тяжёлую гриву коня, закрывавшую ему глаза.

На лугу паслись ещё два коня, такие же мощные и гривастые. Только масть их была обычной: один вороной, а другой — гнедой. Их начищенные бока блестели на солнце. Кони похрустывали травой, отмахивались от слепней пышными хвостами и топали ногами. Зелёный бережок вздрагивал от их копыт и отдавался глухим звуком. Наверное, именно такие кони носили богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича, когда они объезжали границы Руси, охраняя её от супостата.

— Кони, вижу, пасутся. Где же чудо-богатыри? — спросил я девушку.
— А зачёт пошли сдавать. Мы тут на конеферме на практике. А я вчера сдала.

— Хороши битюги на Битюге! — похлопал я по бело-шоколадной шее.

Но девушка даже не улыбнулась. Для нее эти слова не были каламбуром.

— Так ведь первые русские тяжеловозы пошли отсюда, с Битюга. Поэтому их и называли «битюги», — пояснила она, не догадываясь, что я здесь жил когда-то. Не зря она сдавала вчера зачёт по коневодству! — Когда царь Пётр строил под Воронежем первые корабли российского флота, потребовались могучие лошади, чтобы подвозить дубовые брёвна и мачтовые сосны. Царь повелел купить их за границей — в Голландии, в Германии. Но эти тяжёлые лошади плохо переносили здешний климат, болели. Тогда их смешали с местными лошадёнками, выносливыми и неприхотливыми. И появились знаменитые битюги. А порода пятнистых лошадей, как Пегаш, стала даже называться «воронежской». Но их уж осталось совсем мало...

Мне захотелось поближе познакомиться с редкостным конём. Я угостил его хлебом. Пегаш осторожно подобрал с ладони ломоть и шумно обнюхал мой карман. Одна ноздря у него была тёмная, а другая розоватая, в белёсой шёрстке. Как белый мышенок.

ДО СВИДАНИЯ, БОБРОВАЯ РЕКА!

Завтра кончится моё маленькое путешествие. Я долго сижу у костра и слушаю тишину. Пыж сладко спит у меня в ногах. Костёр прогорел. Синие огоньки перебегают по жарким углям. Тепло и уютно. Где-то угукает и посвистывает сыч. Налетела на мягких крыльях, бесшумно шаркнулась в темноту сова. Лесная мышь точит недалеко от меня оставшийся от чая сухарь. Экое счастье ей подвалило! Её крохотный глазок поблёскивает в трепетном свете красных углей.

Поздно вечером вернулись в лес с полей журавли. Я издали услышал их разговор и стал всматриваться в тёмное небо. Журавлиный строй прошёл невысоко. Мне видны были смутные силуэты птиц, слышен шум их крыльев. Через несколько минут они сели на своё болото и радостно закликали. Так радуется только тот, кто возвращается к родному дому.

Я лежал у костра и листал мой бортжурнал. Он был почти весь исчерпан торопливыми записями и рисунками — не бог весть какими, но

всё равно это была память о Битюге, его приметы. Наохотившийся подорлик на высокой береговой суши, цапля на ракушечной отмели, эскадра гусей возле села Коршево, два мальчика верхом на одной лошади, камыши, белые кушники... Вместе с тетрадкой я мысленно перелистывал дни моего путешествия. Оно было недолгим, но радостным. Исполнилась давняя мечта. Как в детстве, я снова ощутил себя дальним путешественником, попавшим в таинственное зелёное царство сказочной реки.

Спасибо тебе, Битюг! Ты обогрел меня последними деньками тёплого бабьего лета. Ты познакомил с хорошими людьми, хозяевами здешних мест. Я любовался твоей чистой водой, деревьями и цветами. Вместе с Пыжом, остроухой лайкой на носу лодки, мы проплыли тихо, чтобы не мешать зверям и птицам на твоих берегах. Все эти дни я был счастлив от близости к родной земле и обилия жизни на ней.

Живите и множьтесь, звери, рыбы и птицы!

Берегите, люди, Битюг!

СОДЕРЖАНИЕ

ТЁПЛЫЙ СНЕГ КАМЧАТКИ

Камчаточник становится камчадалом	5
Минька	10
Землетрясение	26
Докмейстер Киль	28
Тёплый снег	37
Пеплопад	49
«Геркулес» и трясогузка	51
Муха	63
Шиповник с Камчатки	75

ДИАНОВА ГОРА

Дом	79
Диан и Ксантипа	80
Тропинки	81
Озорник	82
Химик	83
Ночной переполох	87
Вышка в лесу	88
Куница	89
Звёзды	92
Тянут гуси	93
Ганнибал	94

НА БОБРОВОЙ РЕКЕ

Река детства	99
Давняя мечта	100
Свет не без добрых людей	—
Жизнь хороша и удивительна	102
Берег левый, берег правый	105
Водиной пастушок	106
Рыбаки и рыбки	107
Зимородки	109
Кабаны и черепахи	110
Бобры	111
Фигура браконьера	112
Молочные реки, сырные берега	114
Старый друг	116
Осы, шершни и шурки	120
Богатырские кони	121
До свидания, бобровая река!	123

Для младшего возраста

Вадим Борисович Чернышёв

ДИАНОВА ГОРА

Рассказы

ИБ № 8041

Ответственный редактор *М. С. Ефимова* Художественный редактор *В. А. Горычева* Технический редактор *М. В. Гаварина* Корректоры *И. Б. Котунова, Э. П. Сизова*

Сдано в набор 05.10.85. Подписано к печати 14.07.86. Формат 70×100¹/₁₆. Бум. офс. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,4. Усл. кр.-отт. 22,75. Уч.-изд. л. 8,12. Тираж 100 000 экз. Заказ № 616. Цена 50 коп.

Ордену Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпром Госкомиздата РСФСР. 170046, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



Чернышёв В. Б.

Ч-49 Дианова гора: Рассказы/Рис. Н. Мальцева.—
М.: Дет. лит., 1986.— 126 с., ил.

В пер.: 50 к.

Рассказы о людях и природе Кавказа, Кавказии и Средней России. Написанные от первого лица, рассказы отличаются достоверностью, характерной для автора-очевидца. Их общая нравственная основа — любовь и бережное отношение к своей земле и её природе.

Ч 4803010102—432 407—85
М101(03)86

P2

